

LE MESSENGER

ВЕСТНИК

РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО
ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

- Год Достоевского (Ф. И. Уделов, Н. М. Зернов).
- Вопросы Церкви
- П. А. Флоренский: Воспоминания детства
- В. В. Вейдле: После «Двенадцати»
- Неизданное письмо А. Солженицына
- Судьбы России

ПАРИЖ—НЬЮ-ИОРК

№ 99

TRIMESTRIEL

I. 1971

LE MESSENGER

périodique de l'Action Chrétienne des Etudiants Russes

Редакционная коллегия:

Франция: К. А. Ельчанинов, В. А. Водов, проф. прот. Алексей Князев,
И. В. Морозов.Америка: Архиеп. Сильвестр Монреальский и всея Канады, проф. прот.
Александр Шмеман, проф. прот. Иоанн Мейендорф, М. Гизетти, О. Раевская.

Ответственный редактор: Н. А. Струве.

91, rue Olivier-de-Serres, Paris-15°. Tél.: BLO. 53-66

ВЕСТНИК Р.С.Х.Д.

ПОВЫШЕНИЕ ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ

В виду увеличения объема Вестника почти вдвое, мы
вынуждены начиная с 1971 г. повысить подписную плату:

Во Франции	35 фр.
с целью поддержки	60 фр.
В Америке	8 долларов
воздушной почтой	10 долларов
с целью поддержки	15 долларов

Читатели, внесшие уже подписную плату за 1971 год,
пользуются прежним тарифом.

Цена отдельного номера: 10 франков.

Abonnement annuel	35,—
Prix du numéro	10,—

Во Франции подписную плату просим вносить только на почтовый
счет РСХД:C.C.P. Paris 2441-04. Action Chrétienne des Etudiants Russes,
91, rue Olivier de Serres, Paris-15°.

БИБЛИОТЕКА - ФОНД
"РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ"
Н. РАДИЩЕВСКАЯ Д. 2
УЛ. 553

Adresse de la Rédaction: Action Chrétienne des Etudiants Russes,
91, rue Olivier de Serres, Paris-15°. France.

ГОД ДОСТОЕВСКОГО

...Все понял и на всем поставил крест.

А. Ахматова

В этом году исполняется 150-летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Мы все знаем Достоевского — великого писателя, Достоевского — несравненного исследователя бездн человеческой души, Достоевского — пророка страшных катастроф XX-го века. Но, быть может, меньше всего мы обращаем внимание на основные мысли-убеждения Достоевского, на его простую мудрость, рассыпанную в записных книгах, в письмах, в **Дневнике писателя**. В подборке изречений вокруг двух основных тем — веры и дел — мы пользовались работой Д. Гришина «Афоризмы и высказывания Ф. М. Достоевского» с добавлениями из прямых источников.

Ред.

Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов.

Без веры в свою душу и в ее бессмертие бытие человека неестественно, немислимо и невыносимо.

Без святого и драгоценного, унесенного в жизнь из воспоминаний детства, не может и жить человек.

Лишь из одной веры выходит весь высший смысл и значение жизни, выходит желание и охота жить.

Совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного.

Православное воззрение, в чем есть православие.

Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. Таков закон нашей планеты, но это непосредственное сознание, чувствуемое житейским процессом — есть такая великая радость, за которую можно заплатить годами страдания.

...Христос — человек не есть Спаситель и источник жизни, а одна наука никогда не восполнит всего человеческого

идеала, и спокойствие для человека, источник жизни и спасение от отчаяния всех людей и условие *sine qua non* для бытия всего мира заключается в трех словах: Слово плоть бысть и вера в эти слова.

...Ваш ребенок трех лет: знакомьте его с Евангелием, учите его веровать в Бога строго по закону. Это *sine qua non*, иначе не будет хорошего человека, а выйдет в самом лучшем случае страдалец, а в дурном так и равнодушный жирный человек, да и еще того хуже.

Не запугивайте себя сами, не говорите: „Один в поле не воин“, и пр. Всякий, кто искренне захотел истины, тот уже страшно силен.

Кто хочет приносить пользу, тот и с буквально связанными руками может сделать бездну добра.

Истинный делатель, вступив на путь, сразу увидит перед собой столько дела, что не станет жаловаться, что ему не дают делать, а непременно отыщет и успеет хоть что-нибудь сделать.

Только то и крепко, подо что кровь протечет. Только забыли негодяи, что крепко-то оказывается не у тех, которые кровь прольют, а у тех, чью кровь прольют. Вот он — закон крови на земле?

Дело правое не погибнет и от нескольких ошибок.

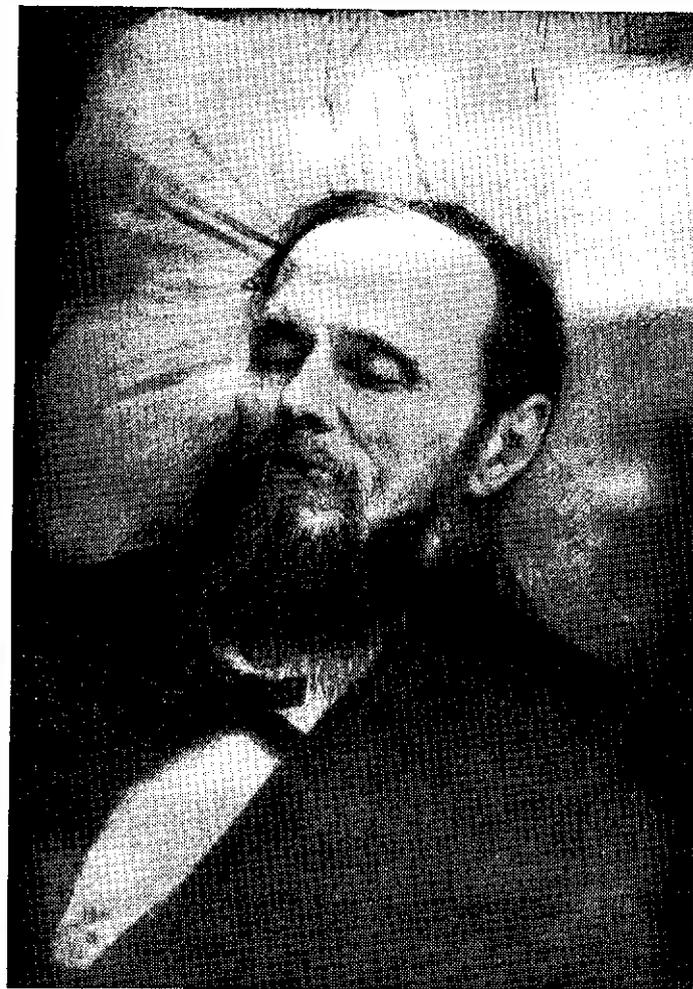
Любовь есть основа побуждения, залог его прочности. Любовь города берет. Без нее же никто и ничего не возьмет, разве силой. Но ведь есть такие вещи, которые никогда не возьмешь силой.

Много несчастий произошло на свете от недоумений и от недосказанности. Недосказанное слово вредит и вредило всегда.

Не начало только всему есть личное самосовершенствование, но и продолжение всего и исход. Оно объемлет, живдет и сохраняет организм национальности и только оно одно.

Всегда, во всяком обществе есть золотая посредственность, претендующая на первенство.

Когда дела нет, настоящего серьезного дела, тогда деятели живут как кошки с собаками и начинают между собой разные дразги за принципы и убеждения.



Ф. М. Достоевский на смертном одре.

ДОСТОЕВСКИЙ И ОПТИНА ПУСТЫНЬ (*)

В предисловии к «Письмам Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия к монашествующим», изгнанным в 1908 г., говорится, что письма «напомнят знаменитый роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» и покажут, что изображенный там старец Зосима не один только плод фантазии художника, а живое лицо, заимствованное из действительности». Мы знаем, что в одном курсе богословия Достоевскому отведен целый отдел на тему пастырского изучения людей по его произведениям (1). Но ссылка на его имя в Оптиском издании писем для монашествующих, а тем более указание на Зосиму как на «живое лицо, заимствованное из действительности», — кажется нам более значительной и драгоценной.

Обычно считается, что прототипом старца Зосимы послужил отец Амвросий, но это не совсем так. Конечно, живое общение летом 1873 года с великим Оптиным старцем, окруженным людьми со всей России, окончательно закрепило в нем образ русского святого — наставника, утешителя и печальника для страдающего и грешного человечества. Но и без этой встречи он был уже подготовлен к этому образу — не только в смысле своего общецерковного знания, но и через две книги, непосредственно рассказавшие ему об Оптиных старцах. Иногда указывают на рукописное «Историческое описание Скита при Оптиной Пустыни», как на возможный материал для фигур Зосимы и Ферапонта, но даже если допустить, что Достоевский видел эту рукопись, те две книги, о которых я буду говорить и которые были в его личной библиотеке, могли дать ему гораздо больше.

Первая книга это опять-таки «Сказание о странствии инока Парфения» М. 1856, неоднократно упоминаемая им в письмах и записных книжках, бывшая с ним, когда им создавались «Идиот» и «Бесы», книга, «иногда перечитываемая» Достоевским, по свидетельству Анны Григорьевны. Инок Парфений в сентябре

(*) Из книги о Достоевском, должествующей в скором времени выйти в издательстве YMCA-PRESS. Рукопись получена из Советской России.

(1) Арх. Антоний, Собр. соч., СПб, 1911, Т. 2, стр. 463-495.

1841 года был в Оптиной у старца Леонида и об этом он подробно рассказывает в своей книге. Что Достоевский уже в 1870 году обратил внимание на это оптинское место книги Парфения, очевидно из того, что он взял из нее для «Бесов» эпизод с «златницей» для своей сцены приема юродивым Семеном Яковлевичем. Мы не знаем, как отразилось на этой сцене посещение Достоевским известного московского юродивого Ивана Яковлевича Корейши, на что указывает Анна Григорьевна (II стр. 32), но вот что дал для этой сцены Парфений. Он так рассказывает о приеме посетителей старцем Леонидом, который иногда тоже как бы протестовал.

«Между этими людьми стоял перед ним (перед о. Леонидом) на коленях один господин... Старец спросил: «А исполнил ли ты, что я тебе прежде приказал?» Тот ответил: «Нет, отче святой, не мог того исполнить». Старец сказал: «Зачем же ты, не исполнивши первого, пришел еще и другого (указания) просить?» Потом грозно сказал ученикам своим: «...вытолкайте его вон из келии». И они выгнали его вон... Потом один из учеников сказал: «Отче святой, на полу лежит златница». Он сказал: «подайте ее мне». Они подали. Старец сказал: «Это господин нарочно выпустил из рук»... И отдал мне полуимпериял.

У Достоевского из этого сделано следующее:

«Спроси», — указал Семен Яковлевич на помещика, стоявшего на коленях. Монах от монастыря, которому указано было спросить, степенно подошел к помещику... «Не велено ль было чего исполнить?»

— Не драться..., — сипло ответил помещик.

— Исполнили?

— Не могу выполнить...

— Гони, гони! метлой его, метлой! — замахал руками Семен Яковлевич.

Помещик... бросился вон из комнаты.

— На месте златницу оставили, — провозгласил монах, подымая с полу полуимпериял.

— Вот кому! — ткнул пальцем на стотысячника купца Семен Яковлевич... (ч. 2).

У Парфения, кстати, этот эпизод с златницей оканчивается так: «Потом я спросил старца: «отче святой, за что вы весьма строго поступили с господином?» Он же отвечал мне: «Отец Афонский! Я знаю с кем как поступать: он раб Божий и хочет

спасть, но впал в одну страсть, привык к табаку... вот сколько трудно из человека исторгать страсти... Потом паки приходил господин и просил у старца прощения со слезами. Он же простил и приказал исполнять то, что приказано было прежде».

Образ странствующего по монастырям монаха Парфения дал Достоевскому и идею «захожего монашка» в «Карамазовых», только он наполнил ее другим содержанием.

Для Зосимы «Карамазовых» из книги Парфения, как мы уже видели (гл. 7), много дали Достоевскому не Оптиные, а Афонские монахи: Арсений, Николай, Аникита и другие. В Оптину Пустынь книга Парфения только приоткрывала дверь.

Целиком вводила в нее другая книга: «Жизнеописание Отца Леонида», М. 1875 г., того самого, у которого получил полуимпериал Парфений. Установлено, что эта книга была в библиотеке Достоевского, вместе с книгами Симеона Нового Богослова, Ефрема Сирина, Исаака Сирина, Парфения, Филарета, Хомякова, Самарина (2). Иеросхимонах Оптиной Пустыни Леонид, в схиме Лев, умерший в 1841 году, вскоре после посещения его Парфением, был основателем Оптинского старчества, без которого мы не представляем себе религиозной жизни России XIX века. О прототипах Зосимы кое-что, но очень мало, рассказал автор. «Взял в лицо и фигуру (Зосимы) из древнерусских иноков и Святителей. Эта глава («О Священном Писании в жизни отца Зосимы») — восторженная и поэтическая; прототип взят из некоторых поучений Тихона Задонского» (письма Достоевского к Любимову, авг. 1879 г.). «Подобный переполюх (глава «Тлетворный дух») был раз на Афоне и рассказан в «Стран. инока Парфения» (ему же сент. 1879 г.).

В монастыре, описанном в «Карамазовых», даны две основные фигуры монашествующих: светлая — Зосимы и темная — Ферапонта. Противоположение сделано вполне закономерно, так как и тот и другой тип исторически верен. «Считаю, — писал Достоевский, — что против действительности (иночества) не погрешил; не только как идеал (Зосима) справедливо, но и как действительность справедливо» (Любимову, авг. 1879 г.). «Заставлю сознаться, что чистый идеальный христианин дело не отвлеченное, а образно реальное, возможное, воочию предстоящее» (ему же, июнь 1879 г.).

(2) Гроссман Л., Одесса, 1919. Цифры в скобках относятся к страницам **Жизнеописания** о. Леонида изд. 1875, которым я пользовался.

В «Жизнеописании о. Леонида» прежде всего «воочию предстоит» Ферапонт, что для понимания Достоевского особенно важно. На стр. 78 рассказывается об одном Валаамском монахе Евдокиме, который «уповал достигнуть духовного преуспеяния одними внешними подвигами... не замечал в себе ни кротости, ни любви, ни слез, ни смирения. Напротив, сухость, жестокость души, зазрения всех и другие, хотя и скрываемые, страсти томил старца. Он не находил себе покоя хотя исполнял все должное... и помыслы склоняли его к самоубийству». На стр. 55 приведено письмо о. Леонида в связи с каким-то другим подвижником того же типа. «О жизни монашеской — пишет о. Леонид — не всяк может здраво судить. А об В-не пусть думают как кому угодно и ублажают его высокое жительство, но мы к оному веры не имамы, и не желаем, дабы кто следовал таковой его высоте, не приносящей плод. «От плода бо их — сказано — познаете их». А плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, вера, кротость, воздержание и прочее. Сожалел об нем, желаем ему придти в познание истины». Дальше в «Жизнеописании» рассказывается, как о. Леонид вразумлял и других монахов, надеющихся на свои высокие подвиги, как снимал с них вериги и учил смирению, этому «предтече любви». Но кроме ношения вериг и иного внешнего подвижничества, Ферапонт дан Достоевским и как «духовидец», как «мистически одаренный».

— «А что, великий и блаженный отец, — спрашивает его в романе захожий монашек, — правда ли... будто со Святым Духом непрерывное общение имеете?»

— Слетает. Бывает.

— Как же слетает? В каком виде?

— Птицею...»

Можно было бы возмутиться и обвинить Достоевского в нехорошей выдумке, если бы в «Жизнеописании» со всей честностью христианской оптинской мысли не был приведен рассказ о посещении о. Леонидом Софрониевой пустыни. «В то время — читаем мы — там жил в затворе (в саду) иеросхимонах Феодосий (Ферапонт жил за пасекой), которого многие почитали духовным мужем и прозорливцем, так как он предсказал и войну 14 года и некоторые другие события. Отцу Леониду его устройство духовное (показалось) сомнительным. (Он) спросил его, как он узнает и предсказывает будущее. Затворник отвечал, что Святой Дух ему возвещает будущее; и на вопрос старца (Леонида) — каким образом возвещает, объяснил, что Дух Святой является

ему в виде голубя и говорит с ним человеческим голосом. О. Леонид, видя, что это явная прелесть вражия, начал предостерегать затворника, но тот оскорбился... О. Леонид удалился и, уезжая из обители, сказал настоятелю: «Берегите вашего святого затворника, как бы с ним чего не случилось». Едва о. Леонид доехал до Орла, как узнал там, что Феодосий удавился» (стр. 56-57).

Таким образом «Жизнеописание» дало Достоевскому, во первых, портреты живых Ферапонтов русской действительности XIX века, во вторых, — и это еще более важно — право уверенного и беспощадного их разоблачения: до него их уже разоблачили Оптиные старцы (3). Достоевский увидел, что Ферапонтовское монашество есть не только факт, но факт, осуждаемый Церковью. Узнать об этом, таком близком по времени, осуждении для него было очень важно, даже если он знал, что этот вид внутрицерковного заблуждения подвергался такому же резкому осуждению у древних Отцов Церкви, например, у пр. Никиты Стифата, ученика пр. Симеона (XI век), книга которого была на полке у Достоевского. О ферапонтах Средневековья преп. Никита писал, что они «не имеют умиления от сокрушенного и благолюбивого сердца... и оставлены пустыми, удаленными от истинного познания Бога, имея мысленные ложесна свои неплодными и слово бес-сольное и бес-светное». Достоевский в создании Ферапонта мог опереться не только на книгу об о. Леониде, но и на общее учение Церкви, начиная с Евангельских обличений «неплодной смоковницы».

Теперь нам все это до очевидности ясно, но чтобы почувствовать ту помощь, которую оказал Достоевский в формировании сознания нашей церковной эпохи, достаточно привести одну недоумевающую фразу из современной Достоевскому критической литературы, считавшей себя церковной. «Отшельник и строгий постник Ферапонт почему-то изображен неблагоприятно и насмешливо» — писал К. Леонтьев, — человек, который по своему оптинскому «стажу» должен был бы понять — «почему» (4).

Ферапонтам монашеской действительности противостоит в «Жизнеописании» образ старца Леонида. Мы читаем о нем, что

(3) В определении ферапонтовщины и в ее изобличении как нехристианства мог помочь Достоевскому все тот же Парфений еще ранее 1870 года. См., например, в его «Странствиях», часть I, стр. 4-8

(4) Леонтьев К. Н.; *Восток, Россия и славянство*, М. 1886, Т. 2, стр. 295.

это был «подвижник великого сердца» (стр. 63), что он был «вдохновлен духом христианской любви», и оставил свое безмолвие, движимый духовной любовью к страждущим и немощным братьям» (стр. 60), что его жизнь в монастыре была «служением страждущему человечеству» (стр. 45). Вспомним, с каким терпением изнемогающий от своего служения человечеству Зосима выслушивает даже скоморошество Федора Павловича и его перебранку с Миусовым. Служение людям — основная мысль, которую Достоевский вложил в своего старца.

Но сходство видно не только в основной идее, но и во множестве личных черт.

Старец «Жизнеописания» — о. Леонид был настоящий монах, представитель, как любят говорить литературоведы, «аскетического христианства», и в то же время «нельзя было не дивиться его всегдашней веселости» (стр. 77). Вспоминая слова Зосимы из романа: «Други мои, просите у Бога веселья». «Спокойствие, младенчество евангельское и христианская радость никогда не оставляли чадолюбивого старца» (стр. 77) — продолжает «Жизнеописание», и мы опять вспомним роман. «Мудрость свою он прикрывал простотой слова и простотой обращения и часто растворял наставления свои шутовством» (стр. 59). Вспомним главу романа «Верующие бабы»... «Учениками его не могли быть лукавые люди или политики: они не выдерживали его взгляда и хотя прилеплялись к нему, но не надолго. Сжавши сердца, они скоро отбегали от этого ученика Христова, увидев, что притворная вежливость и лживая почтительность непригодны для кельи старца, где воцарилась духовная простота и младенчество христианское» (стр. 70). Можно подумать, что это пишет Достоевский о Зосиме, чистом от всякой фальшивой елейности. Все виды притворного смирения, «восторгов» целования плеча и рук, старец Леонид не терпел и называл их «хикурою» (стр. 70). Будучи строгим постником, о. Леонид умел соединять это со свободой в еде и в обращении с людьми. «Пищу старец — говорит «Жизнеописание» — вкушал дважды в сутки, что Бог посылал, пил иногда рюмку вина или стакан пива». Ферапонт говорит о Зосиме: «постов не содержал, конфетою прельщался, барыни ему в карманах привозили». «За трапезою (о. Леонида) шла обыкновенно оживленная беседа, позволялись скромные, и незлобивые шутки и рассказы... Старец иногда рассказывал анекдоты из римской истории, которую знал хорошо из старинных переводов Тацита. Одного из своих учеников шутя называл последним римлянином, может быть, потому, что

этот ученик выражал мнение, что мы переживаем последние времена монашества» (стр. 80-81).

Ферапонт Достоевского выведен великим противником старчества. Все «Жизнеописание» полно данных о гонениях на о. Леонида за старчество, введенное им в Оптиной. Дело, оказывается, дошло до того, что о. Леонида и его учеников и учениц стали подозревать в ереси и даже в «масонстве», причем подозревали и гнали его такие влиятельные лица как два архиерея — Тульский и Калужский. Только вмешательство двух Филаретов — Киевского и Московского и заступничество Игнатия Брянчанинова спасли старца и его учеников. И само учение о старчестве или его апология, данная Достоевским в романе, (5 глава, книга 1) во многом взята из «Жизнеописания».

Строгое отношение Церкви к самоубийцам хорошо известно: за них не молятся в общественном богослужении, и отсюда принято, что за них вообще нельзя молиться. Об отношении к ним Зосимы мы узнаем из его слов: «Мыслью в тайне души моей, что можно бы за сих помолиться. За любовь не осердится ведь Христос». Можно было бы посчитать, что это отношение только выдумка литератора, если бы в «Жизнеописании» не было такого места: У старца Леонида был молодой ученик Павел Тамбовцев (и в этом аналогия с Зосимой), который умер 26 лет вскоре после того, как его отец окончил жизнь самоубийством. Старец дал Павлу молитву об отце, начинавшуюся так: «Взыщи, Господи, погибшую душу отца моего (и), аще возможно есть, помилуй! Неисследимы судьбы твои... Кстати, и в семье Алеши и самоубийство и убийство.

Даже такая характерная деталь, что Зосима, в дополнение к средствам духовным, применял иногда к людям простые медицинские средства («покойник, святой-то ваш... пурганцу от чертей давал», — кричит Ферапонт), — основана, очевидно, на «Жизнеописании», рассказывающем, что о. Леонид применял иногда народные медицинские средства и даже сам изготовлял одно лекарство (стр. 75).

Очень важная идея Зосимы — это стирание грани между миром и монастырем в смысле слияния их и созидания незримого монастыря в миру. Алешу старец отправляет в мир не для обмирщения, а для подвига среди мира. «Благословляю тебя на великое послушание в миру... Мыслью о тебе так: изыдешь из стен сих, а в миру пребудешь как инок» — говорит Зосима. Эта идея владела

Достоевским уже в 1870 году, когда он, работая над «Бесами», создавал образ «архиерея на покое» Тихона и его разговор с Ставрогиним, т. е. задолго до выхода «Жизнеописания». Отправной темой ему могли послужить факты тайного пострига, всегда существовавшие на востоке, некоторые, может быть, ему известные факты из биографии Шидловского, тоже отправленного своим старцем из монастыря в мир, а также мысли некоторых древних подвижников, например Ефрема Сирина, книга которого была у него в библиотеке: «монаха делают -- пишет пр. Ефрем -- не пострижение и одеяние, но небесное желание и божественное житие». Но готовя материал для «Карамазовых», он наверно был обрадован, найдя в «Жизнеописании» такие слова о. Леонида о тайном или внутреннем монашестве: «Если ты облечешь себя о Христе во образ внутреннего инока, то не беспокойся о внешнем образе (иночестве), хотя и непогрешительно желать сего... Множество окажется монахов единственно по произволению, хотя они в здешнем мире не могли, по судьбам Мироправителя, быть постриженными от рук смертных. Преподобная Пелагея сделалась преподобной, хотя и не была облечена в мантию от человеков. Мантия означает тесноту, обещание вольной нищеты, чистоты, послушания, и смирения монашеского жития; но мантия внутреннего облачения есть священнейшее возложение одежды Св. Духа» (стр. 168-169).

Вот какого человека нашел Достоевский до того, как начал писать Зосиму, — человека, который «болел любовью к ближнему» (стр. 180), и который наверно через эту болящую любовь, как сказано о нем в том же «Жизнеописании» «повеселел детскою евангельской радостью» (стр. 8). Узнав о Леониде, увидел, что еще совсем недавно, когда он в Петербурге вел свои ночные разговоры с Шидловским, здесь, в Оптиной, жил человек, так близко отвечающий его представлению о христианской святости, один из тех «Десяти праведников», на поиски которых он был уже так давно устремлен. О них он думал, создавая «Идиота», их черты нашел в образе Тихона и Хромоножки, создавая «Бесы», и Макара в «Подростке». Значит действительно, — начиная с Пятидесятницы по темноте истории идет единая и ослепительная полоса света, святая Церковь Божия, никак не соединяемая с тем, что носит только имя ее или внешнюю форму ее, хотя бы в виде монашеских одежд. Это и есть непрекращающееся первохристианство, не изменяемое во веки веков. «Христос вчера и сегодня и во веки тот же», а с Ним все та же Церковь Его. В этом так было нужно убедиться

Достоевскому, утомленному зрелищем темноты внутри церковной ограды. Отделить Зосиму от Ферапонта значило для него и значит для всех нас — отделить Церковь от ее двойника, а тем самым утвердить свою веру, понять еще раз, что «не умирает великая мысль».

Отделяя и противопоставляя их, Достоевский не выдумывал, как его заподозрили, «нового христианства» — Зосимовского или даже «Мережковского», а только нашел — где припасть устами к его древнему и вечно живому источнику. Это «где» был русский монастырь Калужской епархии.

Тогда понятно, почему незадолго до «Карамазовых» он так твердо писал о сектах: «Кто отстал от истинной Церкви и замыслил свою, — хотя бы самую благолепную на вид, непременно кончит тем же, что эти секты» (Днев. пис. 1876 г.). «Для самых благородных целей и стремлений нельзя — писал он еще в 1873 г. — исказить христианство, т. е. смотреть на православие, как на второстепенную вещь» (письмо к Погодину). Оптиная Пустынь, где он нашел своего Зосиму, была обычным православным монастырем. Необычно в ней было только то, что на фоне общего оскудения веры и духовной жизни России, в том числе и в монастырях, в ней эта жизнь в XIX веке, наоборот, расцвела. И этот расцвет был основан на том, что люди, жившие в ней, принимали христианство «всерьез», по евангельски, а не как благочестивую внешность, и восстановили в своем монастыре дух истинного подвижничества, то есть труда любви в простоте сердца.

В «Жизнеописании» про о. Леонида говорится: «По простоте христианской веры и смирению, по претерпенным им скорбям и духовным дарованиям (он) был яко один из древних... Некто из присных учеников, видя однажды его в особенности веселом и откровенном расположении, спросил его:... «Батюшка! как вы захватили такие духовные дарования, какие мы в вас видим?» Старец отвечал: «Живи.. попроще, Бог и тебя не оставит». Потом прибавил: «Леонид был всегда последним в обителях; никогда ни от какого поручения настоятеля не отказывался. В навечерие великих праздников другие стремятся в церковь, а Леонида посылают на хутор за сеном для лошадей приезжих господей; а потом усталого и без ужина посылают на клирос петь и... он безропотно повиновался. Старайся и ты так жить: и тебе Господь явит милость Свою» (стр. 78).

Вот, оказывается какие простые университеты проходил этот

прототип Зосимы. Свойства иноков Оптиной росли на большом труде смиренного сердца, на истинном подвиге так называемого «монашеского христианства», были результатом сердечного мужества и любви. Это была Пасха после Страстной.

В монастырских источниках Достоевский мог найти и отношение Зосимы к природе. «Любите все создания Божии — учит он — каждый листик, каждый луч Божий любите». В «Историческом описании Козельской Оптиной Пустыни» — одно из изданий которого было в библиотеке Достоевского, даны сведения об умершем в 1861 году иеродиаконе Паллади, который любил в ясную ночь смотреть на небо, на месяц и звезды и знал годовое положение многих из них... «Все у Бога блюдет свой чин — говорил он. Пойдет в лес: всему удивляется — каждой птичке, мушке, травке, листику, цветочку. Подойдет к какому-нибудь дереву — сколько о нем (у него) разговоров, сколько удивления: удивляется, как все повелением Божиим растет, как разворачивается лист, как цветет цвет». Об этом Оптинском монахе была заметка в 60-х годах и в «Страннике». В эти же 60-е годы в «Страннике» был помещен рассказ о «блаженной страннице Дарьюшке», интересный для нас в данном случае потому, что в нем упоминается о том, как она однажды..., во время своего странствия по России, целовала землю, в порыве радости и благодарения Богу, эту землю создавшему и по ней ходившему. У Достоевского уже Марья Тимофеевна, в 1870 году, молясь, целует землю, а через 10 лет это передано Алеше.

Некоторые считают, что материалом для создания Зосимы послужила книга: «Жизнь в Бозе почившего блаженного старца схимонаха Зосимы» М. 1860 (см. т. 10 стр. 472 собр. сочин. Достоевского 1858 г.), но это мнение неосновательно. Зосима этой книги относится к людям совсем иного религиозного склада, чем Зосима романа и Леонид Оптиной. Он монах прежде всего молитвенник, «созерцатель», пустынный, или все время стремящийся от людей в пустыню. Зосима романа и Леонид Оптиной прежде всего христианские деятели духовной жизни — кормители людей. Сходство в офицерском прошлом Зосимы романа и Зосимы данной книги само по себе недостаточно: и Георгий Задонский и Игнатий Брянчанинов тоже были до монашества офицерами.

Уж если искать еще литературные источники, которые могли дать Достоевскому материал для Зосимы, то это опять таки будет Оптинский материал. В 1862 году в «Русском вестнике», журнале,

который конечно читал и в котором впоследствии печатался Достоевский, были помещены воспоминания о Гоголе Л. И. Арнольди. Гоголь сказал Арнольди: «Я на перепутья всегда заезжаю в эту пустынь (Оптину) и отдыхаю душой. Там у меня в монастыре есть человек, которого я очень люблю... некто Григорьев, дворянин, который был прежде артиллерийским офицером... и говорят, что никогда не был так счастлив, как в монастыре... Душа его такая детская, светлая, прозрачная! Он вовсе не пасмурный монах, бегающий от людей. Нет, он, напротив, любит всех людей, как братьев. Он всегда весел, всегда снисходителен»...

Зосима Достоевского полон Оптинского материала. Тот теократический утопизм, который Достоевский прибавил от себя к этому материалу, возможно под влиянием Вл. Соловьева, указан мною в 7 главе. Великим постом 1878 года Достоевский слушал лекции Вл. Соловьева о Богочеловечестве, а в мае у него умер маленький сын Алеша». «Чтобы хоть несколько успокоить Ф. М., — пишет Анна Гр. — я упросила Вл. С. Соловьева, посещавшего нас в эти дни нашей скорби, уговорить Ф. М. поехать в Оптину пустынь. Посещение ее было давнишней мечтой Федора Михайловича».

Поездка состоялась (совместно с Вл. Соловьевым) в конце июня 73 года. «Вернулся Ф. М. из Оптиной — пишет Анна Гр. — как бы умиротворенный и значительно успокоившийся. Он провел там двое суток и о. Амвросия видел три раза: один раз в толпе и два наедине, и вынес из его бесед глубокое и проникновенное впечатление... Из рассказов Ф. М. видно было, каким глубоким сердцеведом и провидцем был старец». Об одном разговоре Достоевского с о. Амвросием мы можем иметь некоторое представление. К словам Зосимы в главе «Верующие бабы» — «вот что мать... это древняя Рахиль плачет» — Анна Гр. делает такое примечание: «эти слова, передал мне Ф. М., возвратившись из Оптиной пустыни; там он беседовал со старцем Амвросием и рассказал ему о том, как мы горюем и плачем по недавно умершему нашему мальчику. Старец обещал Ф. М.-чу помянуть на молитве Алешу и «печаль мою» (5). В романе Зосима говорит: «помяну, мать, помяну, и печаль твою на молитве вспомяну.»

Неудивительно, что эта поездка, подтвердившая, так сказать,

(5) Творчество Достоевского. Сборник статей и материалов под ред. Л. Гроссмана, Одесса, 1921.

«Жизнеописание» о. Леонида, дала такой толчок в работе над «Карамазовыми»: в июне еще ничего не было написано, а уже к декабрю были готовы первые 10 печатных листов романа, которые и были напечатаны в январской книжке «Русского Вестника» за 1879 год.

То, что Оптина была, как говорит Анна Гр., — «давнишней мечтой» Достоевского, мы можем объяснить себе тем, что он узнал про нее из «Жизнеописания» о. Леонида, а еще раньше, то есть не позднее 1870 года, — из книги Парфения, или даже еще раньше из воспоминаний Арнольди о Гоголе.

Свою поездку в Оптину в 1850 году (первый год каторги Достоевского) Гоголь так описывает в письме к А. П. Толстому: «Я заезжал по дороге в Оптину пустынь и навсегда унес о ней воспоминание. Я думаю на самой Афонской горе не лучше. Благогодать видимо там присутствует. Это слышится в самом наружном служении, хотя и не можем объяснить себе почему. Никогда я не видал таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное. Я не спрашивал, кто из них как живет: их лица сказывали сами все. Самые служки меня поразили светлой ласковостью ангелов, лучезарной простотой обхождения; самые работники в монастыре, самые крестьяне и жители окрестностей: за несколько верст, подъезжая к обители, уже слышится благоухание; все становится приветливее, поклоны ниже и участие к человеку больше» (6).

Мы, посещавшие Оптину на ее закате, в начале 20-х годов нашего века, знаем по себе это ее «участие к человеку». В «Жизнеописании» о. Леонида оно так описывается: «Великое зрелище человеческих страстей и бедствий, которых он был ежечасным слушателем, и в которых принимал искреннее христианское участие, извлекало у него глубокие, глубокие вздохи, слезы, потрясая всю внутренность его. И тогда обращенный к Господу вздох, или взор к иконе Божией Матери, перед которой теплилась неугасимая лампада, заменял ему устную молитву.»

В Оптиной жили настоящие монахи, но свою жизнь и свои слезы они не отделяли от жизни и слез скорбящего мира. В этом и была особая легкость и радость этого удивительного монастыря.

(6) Собр. соч., изд. Академии Наук, 1952, Т. XIV, письмо 185 от 10 - VII - 1850 г.

В Оптиной жили люди, отдавшие Богу не «два рубля», как все боялся Алеша, а всю свою жизнь и, главное, всю свою любовь. Это были люди со святым сердцем, — с сердцем, милующим всякую тварь» (7).

(7) В письмах Л. Толстого есть такая оценка одного Оптинского монаха помогающая понять — почему крупнейшие писатели 19 века — Гоголь, Достоевский, Толстой — так тянулись к этому монастырю: «В Оптиной пустыне — пишет Толстой — в продолжение более 30 лет лежал на полу разбитый параличем монах, владевший только левой рукой. Доктор говорил, что он должен был сильно страдать, но он не только не жаловался на свое положение, но постоянно крестясь, глядя на иконы, улыбаясь выражал свою благодарность Богу и радость за ту искру жизни, которая теплилась в нем. Десятки тысяч посетителей бывали у него, и трудно представить себе то добро, которое распространилось на мир от этого лишенного всякой возможности деятельности человека. Наверное этот человек сделал больше добра чем тысячи и тысячи здоровых людей, воображающих, что они в разных учреждениях служат миру» («Письма Толстого» под ред. Сергеенко, том второй, М. 1911, стр. 206). Хочется отметить, что это писалось Толстым в 1902 году, т. е. в эпоху казалось бы расцвета его антицерковных идей. Потемки — чужая душа, а тем более душа Толстого.

НИКОЛАЙ ЗЕРНОВ

СИМВОЛИКА ИМЕН В РОМАНАХ ДОСТОЕВСКОГО (1)

Грибоедов и Гоголь были великими мастерами в создании имен для своих символических героев. Такие имена как Скалозуб, Молчалин, Собакевич, Коробочка или Ноздрев воссоздают сами по себе те искажения личности, которые хотели изобразить эти писатели. Достоевский пошел по пути своих гениальных предшественников, но он настолько углубил и расширил символизм, как личных так и фамильных имен, что его раскрытие требует внимательного исследования. Достоевского надо читать медленно, вдумываясь в каждое его слово, отмечая все изгибы его мысли. При таком подходе к его творчеству символизм имен приобретает свое настоящее значение и помогает понять лучше замысел автора.

Пять главных романов-мистерий Достоевского можно сравнить с пятью актами одной грандиозной драмы, героем которой является «всечеловек» — Адам. Он стоит перед лицом своего Творца-Бога, спорит и вопрошает Его. «Зачем Ты создал меня, говорит Адам, почему Ты послал меня жить здесь на земле, в стране изгнания, где я остаюсь бессильной жертвой моих страстей, за что я должен страдать, болеть и гибнуть под тяжестью моих грехов, зачем Ты возложил на меня невыносимое бремя свободы?» Этот Адам разбит на множество осколков. Он потерял свое единство, каждый герой Достоевского выражает лишь одну черту «всечеловека», пытается найти разрешение одной из загадок, которые окружают жизнь человека на земле. Их имена приоткрывают тайну их личности, помогают понять те мучительные вопросы, на которые герой желает получить ответ.

В «Бесах» и в «Братьях Карамазовых» этих двух величайших мистериях, созданных Достоевским, имена приобретают особое зна-

(1) Примечание. В течение 1947-66 годов я читал лекции о Восточной Православной Культуре в университете в Оксфорде. Я неоднократно разбирал в эти годы богословское содержание романов Достоевского. Меня особенно интересовал символизм имен его героев. Работа над другими книгами не дала мне возможности углубиться в эту тему, и записать тогда мои мысли. Я хотел бы однако теперь в этой краткой заметке вернуться к ним, в надежде что кто-нибудь из читателей **Вестника** займется их дальнейшей разработкой. В заключение я хочу упомянуть здесь ценную книгу Л. А. Зандера **Тайна Добра**, Посев, 1960, касающуюся того же вопроса.

чение. Центральной личностью в «Бесах» является Николай Ставрогин. Имя Николай — означает победитель народов, Ставрогин — человек, вознесшийся на крест. Ставрогин человек-бог, противопоставляет себя Богу — человеку Иисусу Христу. Ставрогин сам выбрал распятие, чтобы испытать свою силу, чтобы доказать себе, что он властен над своей судьбой. Как и Спаситель мира он поднят над остальным человечеством и притягивает к себе других. Все остальные герои «Бесов» вращаются вокруг него. Сам же он застыл в своей жуткой неподвижности, под маской «спасителя» он задыхается в пустоте своего самозванства. Его распятие кончается смертью, а не воскресением, так как оно проявление его самовольства, дерзкого вызова своему Творцу.

Главный ученик Ставрогина Петр Верховенский. Как апостол Петр, он провозглашает веру в своего учителя, организует «новую церковь», состоящую из ячеек революционных заговорщиков. Но если апостол Петр «камень», то Петр Верховенский авантюрист, обманщик, предатель, издевающийся над теми, кто пошел за ним. Он готов жертвовать жизнью ради идеи, но не своей, а других.

Другой ученик Кирилов не похож на Верховенского. Он глухо презирает фигляра наглого Петра. Кирилов носит имя «господина» — кириоса. Он поверил Ставрогину, что если Бога нет, то человек должен занять место Творца вселенной. В доказательство своего господства он и кончает жизнь самоубийством, что потом сделает и Ставрогин.

Шатов еще один из учеников Ставрогина. Он великодушен, полон добрых порывов, но в то же время он как трость ветром колеблемая, шатается, не может найти устойчивости и потому обречен на гибель.

В «Братьях Карамазовых» особенно важно их семейное имя. «Кара» — черный на языке народов, населяющих восток России. Карамазовы черные люди, они выросли на черноземе, в них стихийная сила плодородной земли. Отец Федор — «дар Божий». Он даровитый, богатый по природе человек, но беспутно расточивший и осквернивший свои дары. Однако он не потерял их окончательно. Хотя он и развратник и добровольный шут, но в нем не исчезла и некоторая чуткость сердца. Он сознает силу добра в своем младшем сыне. От первой своей жены Аделаиды Ивановны, фантазерки, исковерканной своим воспитанием на западный манер, у него рождается сын Дмитрий, носящий имя Деметры богини земли. Это человек чувств, стихийных порывов, в нем доброе и злое начало смешано до того, что он сам бессилен разобраться в них. Совсем

иними являются его полубратья рожденные от второй жены Софии Ивановны. Старший из них носит имя Иоанна Богослова. Он мыслитель, мучающийся своими сомнениями и озаряемый своими прозрениями. Ему открыты тайны потустороннего мира, но гордость ума не дает ему возможности войти в церковь и он становится сознательным богоборцем. Третий сын Алеша «человеколюбец» по словам Достоевского. Он назван в честь любимого русского святого Алексея — человека Божьего. Само имя Алексей означает помощник, и Алеша действительно постоянно призывается на помощь всеми его окружающими. Четвертый сын Смердяков, родившийся от Елизаветы Смердящей, карикатура на Ивана. Он тоже атеист и тоже философ, все идеи, которые кажутся дерзновенными и Ивана, становятся плоскими и вульгарными, когда их начинает излагать лакей Смердяков. В нем черная, плодородная земля Карамазовых превратилась в липкую зловонную грязь, так как благодать Святого Духа уже не освящает ее.

Адам у Достоевского не предстает в одиночестве своему Творцу, рядом с ним находится его вечная спутница Ева. Женщины у Достоевского не имеют своей судьбы, они не спорят с Богом, но в руках их судьба мужчин, они губят или спасают тех, кто выбирает их своими подругами. Ева, как и Адам, потеряла свое единство, она расколота, искажена, но печать ее первозданной красоты все еще украшает ее. Особое место в романах Достоевского принадлежит женщинам, носящим имя Софии, премудрости Божьей, и Екатерины «всегда чистой».

Соня Мармеладова, София Андреевна мать Подростка, София Ивановна мать Ивана и Алеши, София Матвеевна Улитина-книгоноша, скрасившая последние, страдные дни Степана Трофимовича Верховенского; все они невинные жертвы жестокости и похоти людей. Они несут смиренно крест, выпавший на их долю, сгибаясь, но не ломаясь под его тяжестью. Они готовы забывать о себе, простить своим обидчикам. Но они не безразличны к добру и злу, не примиряются с грехом, но преодолевают зло своею жертвенной любовью. Они умеют подлинно, творчески любить и в этом неиссякаемый источник их возрождающей силы. Они верят в конечную победу добра и это спасает их от отчаяния и ненависти к своим обидчикам. Софии отражают Божественный свет, они свидетельствуют о присутствии в этом павшем мире иной высшей реальности — живого всевидящего и сострадающего человечеству Бога.

Екатерины тоже жертвы, они привязаны к колесу мучений, но в их случае страдания не искупают, а разрушают их. Они не могут

забыть о себе, не выставлять себя на первое место. Они любят себя своим великодушием, своей жертвенностью, своей чистотой. Они не винят и потому становятся игральным своим фантазий. Екатерина Ивановна Мармеладова на первый взгляд кажется беззащитной жертвой своего беспутного пьяницы мужа, но в действительности она толкнула его на такую жизнь, так как она любит только себя и свои страдания.

В тяжелую, насыщенную страстями атмосферу Карамазовской семьи втягиваются две женщины. Екатерина Ивановна несмотря на свое видимое благородство и жертвенные порывы приносит несчастье, она губит Дмитрия из-за своего эгоизма. Грушенька-Аграфена, богиня любви, вызывает вихри. Отец забывает все в порыве сладострастия, Дмитрий загорается огнем эротической любви, но Алеша подходит к ней с братским сочувствием. В Грушеньке любовь побеждает, она сама очищается ею и открывает перед Дмитрием путь возрождения. Но этого не удается достичь красавице Анастасии Филипповне. Ее имя зовет к чуду воскресения, но в последний момент вера изменяет ей, она срывается и все кончается торжеством смерти.

Особняком стоит Дарья Шатова. Ее имя означает «сильная, побеждающая». Она действительно не боится никакой жертвы, готова отдать себя до конца любимому человеку. Ей однако не удается спасти Ставрогина. М. б. никто и не мог спасти его; вернее все же, что Достоевский верил, что лучшим проводником Божественной благодати были женщины слабые и беззащитные по природе, исполненные поэтому не своей, а высшей силы.

Эти же убеждения с большей ясностью Достоевский выразил в рассказе о жене Ставрогина. Только одна дурочка хромоножка Лебядкина удостоена носить имя Марии. Она провидица, первая разгадавшая сущность своего мужа, разоблачившая его самозванство. Она связана с матерью землею, с вечной женственностью и с пречистою Богородицею. Свои самые дерзновенные прозрения Достоевский воплотил в образе юродивой Марии Тимофеевны в девице-жене, ожидающей своего небесного жениха.

Кроме имен, носящих смысловое соответствие с характером героев, Достоевский часто прибегал к именам имевшим ярко выраженную звуковую ассоциацию с его персонажами. Таким является например имя Свидригайлова, взятое им из истории Литвы. Оно отражает странную, полную внутренних изворотов личность этого темного мистика, одного из оригинальнейших созданий пи-

сателя. Таковы же и имена Щигалева, Фердыщенко, Лямшина, Литвина, Лебезятникова и других.

Изучая эту прихотливую канву имен, невольно встаешь перед вопросом, насколько сам Достоевский продумал до конца все возможные выводы из сделанного им выбора. Исчерпывающего ответа на этот вопрос дать невозможно, но одно несомненно, что Достоевский тщательно обдумывал, проверял и менял имена, пока не находил подходящие. Он остро реагировал и на звуковой и на смысловой характер имен. Здесь он следовал глубоко укоренившейся русской традиции. Благодаря употреблению при крещении преимущественно греческих имен русские привыкли искать в святцах их объяснения. В библиотеке Достоевского был такой календарь, в котором давался перевод на русский имен общепринятых святых.

Герои романов Достоевского кажутся сначала русскими различиями середины XIX века, одетыми в неуклюжее платье той эпохи и населяющими мрачные дома промозглого Петербурга. Одновременно же герои являются грандиозными символами судеб человечества, выходящими за рамки любой исторической действительности. Хотя они и вовлечены в драматические события так увлекательно описанные автором, но принадлежат они к иному «действию», которое началось с грехопадения и окончится только в день второго пришествия Иисуса Христа. Раскрытие символизма имен помогает читателю видеть в романах-мистериях сочетание различных сфер, что является одной из основных особенностей творчества Достоевского.

2 января 1971 года, Оксфорд.

БОГОСЛОВИЕ И ВОПРОСЫ ЦЕРКВИ

К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ о. С. БУЛГАКОВА.

ПРОТ. СЕРГИЙ БУЛГАКОВ (1871-1944)

Слово Пасхальное

В неделю Антипасхи (о Фоме) (1943 г.)

Христос воскрес из мертвых,
смертию смерть поправ...
Небеса убо достойно да веселятся,
земля же да радуется, да празднует
же мир, видимый же весь и невидимый:
Христос бо воста, веселие вечное.

Как выразить нам радость пасхальную? Какое слово достойно и сильно, чтобы явить ее иступленность, исхождение из собственного нашего естества? Язык бессловесен и слово немолствует, радость же поет и струится в мире и в нас самих. Она свидетельствует о совершившемся воскресении Христовом и о жизни будущего века, как некой самоочевидности: — «от смерти бо к жизни, и от земли к небеси, Христос Бог нас привеле...» «Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечного начало...» «Яко воистину священная и всепразднственная сия спасительная ночь и светозарная, светоносного дне восстания сущи провозвестница». «Приидите, нового винограда рождения, божественного веселия... Царствия Христова приобщимся...» С захватывающим дыханием, в потоке речи стремимся поведать мы о совершившемся чуде воскресения. Это чудо **впервые, с единственною, неповторяющею силою**, потрясает нас в Христову ночь, когда мы внемлем вести воскресения от ангелов и человек. Она берет нас во власть свою и уводит из здешнего мира, делает нас **иными** себя самих, как бы уже совоскресшими Христу и живущими жизнью воскресения. И нам хочется утвердиться в новом мире на этой высоте, остаться навсегда в иступленности, восходя выше и выше, трепеща сильнее и горячее... Однако далее мы уже лишь **повторяем** это самосвидетельство,

ото дня ко дню, и от часа к часу, уповая, что оно в нас сохраняет и утверждает силу свою...

Благодать праздника дает нам эту его радость, она светится в храме и в сердцах наших, когда мы внемлем пению гимнов пасхальных и ответствуем на их призывные возгласы «Христос воскрес» и своим «воистину воскрес». Однако повторения скоро уже теряют свою первую, непосредственную силу. Душа не возлетает в иной мир, но остается на земле. Праздников праздник становится лишь **одним** из праздников, даже и будучи первым из них. Радость его в нас ослабевает и как бы затихает. И так приближается день, когда в храме уже затворяются отверстые Царские врата, и для нас закрывается небо, хотя и продолжают еще дни Пятидесятницы. По окончании же их наша жизнь возвращается в обычное русло, впредь до нового пасхального взлета...

Христианская церковь родилась в радости воскресения, в явлении Воскресшего ангелам и человекам. Апостолы свидетельствовали о воскресении Христовом: «Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его» (Деян. 2,24). Воскресший же являлся здесь на земле многим, доколе не вознесся в небеса и не скрылся от земли, чтобы там в небесах «умолить» Отца послать нам «Другого Утешителя» (Ио. 14,16), который «пребудет с нами во век», «научит всему и напомним все». И другое еще обетование дает Господь: «Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю место, приду опять и возьму вас к Себе» (14,2). Об этом новом, втором пришествии во Славе, как Царя, Судии и Воскресителя мертвых многократно обетовал Господь. Это обетование глубоко залегло в сердца христиан. В ночь пасхальную отзываются они на весть: «Христос воскрес», своим «воистину воскрес», а в пасхальную седмицу, в первохристианстве, ответною молитвой Церкви Христовой было: «ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22,20). Этой молитвой молились первые христиане, ею они вдохновлялись, она давала силу мученичества и исповедничества, как и радость пасхальную. Многократно повторялись пророческие слова Откровения, что «время близко» (Откр. 1,3, 22,10), и переходит образ века сего, приближается конец его, обновление и преображение. Пришествие Христово мнилось им не страшным, но радостным, какова ныне радость пасхальная. Но как угасает в нас эта последняя, так затихла и как бы позабыта теперь и эта молитва: «ей, гряди» -- та, которая должна стать первою молитвой, наряду с

молитвою к «Другому Утешителю», Духу Святому: «Прииди и вселися в ны».

И ныне, когда поет душа: «Христос воскрес из мертвых», остается ли в ней место еще для другой молитвы: «ей, гряди»? Или же она сливается с первой, ею поглощается? Та радость, которая возвещается в ночь Христову, переходит по ту сторону Христова воскресения. Оно совершилось здесь на земле, в этом веке, но восполнилось вознесением в небеса. От того свершения, которое открывается в ночь пасхальную, нас отделяет вся полнота веков, прошедших и еще грядущих, как и вся жизнь загробного мира. Светлое Христово воскресение чрез все грани мировых свершений является пророчесвенно проникающим и все в себе вмещающим. И вот почему даже эта христианская молитва молитв: «ей, гряди» здесь как бы умолкает, ибо исполняется в предварении пророчесвенном: Христос воскресший в нас и с нами. Мы испытали, пережили эту радость Его духовного явления. Но после того с новой силой и остротою начинаем мы чувствовать Его вознесение в небеса, которое есть от нас удаление. Оно спасительно и не оставляет нас сирыми, но возвращает к нашему земному бытию, к которому относится также и загробное состояние. Отсюда-то родилась первохристианская молитва: «ей, гряди». Радость воскресения сменилась для учеников недоуменным созерцанием как «Господь поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их». И в ответ на это недоумение, «когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видите Его восходящим на небо» (Деян. 1,10-11). В ответ же на это и зародилась в сердцах молитва: «ей, гряди, Господи Иисусе». Она явилась тогда как бы продолжением славословия пасхального. Она стала внутренней силой воодушевления, зиждущего Церковь. И она не может прекратиться или заглохнуть до самого своего исполнения, до обетованного пришествия Господа. Поэтому и в наших сердцах, вместе с угасанием торжества пасхального, должна звучать полнее эта молитва, как молитвенная душа Церкви.

Однако, в жизни ее, в земных ее судьбах мы этого не наблюдаем, и даже видим совершенно обратное. Она как бы забывается, теряет силу, становится ненужной, несущественной. Она отсутствует в нашем молитвенном самосознании. Что это

значит? О чем свидетельствует? О преизбыточной ли полноте или же ущербности нашего сознания, которая требует для себя творческого восполнения? Когда любим, мы жаждем любимого: зреть его, чувствовать, познавать, жить с ним. Эта жажда проникает нашу собственную жизнь, и ее воодушевляет. Из нее родится сила христианства в истории, ею побеждается языческое обмирщение и антихристово злоба. Чаяние Христа, грядущего в мир, есть и радость пасхальная, но с тем, чтобы стать животворящей силою всей нашей жизни. И она не может умолкнуть в нас, когда умолкают гимны пасхальные, она должна звучать в нашей жизни уверенней и победнее. «Ибо Христос для того умер и воскрес и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми и живыми» (Римл. 14,9). Мы призываемся здесь на земле к подвигу творческой веры.

Во дни, когда являлся ученикам воскресший Христос, оказался среди них и «Фома неверующий», который хотел для себя телесного доказательства воскресения, и Господь в явлении Своем низшел к этой его немощи. Однако и сам Фома преодолел маловерие и исповедал с тем большею силою веру свою: «Господь мой и Бог мой!» (Ио. 20,28). Господь же сказал ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня. Блаженны не видевшие, но уверовавшие».

К этому блаженству подвига веры зовет нас после-пасхальная неделя о Фоме. Она обращает сердца наши к непрестанному молитвенному зову христианства: «ей, гряди, Господи Иисусе».

Аминь

О ЕДИНСТВЕ ХРИСТИАН ВО ХРИСТЕ (О ЦЕРКВИ) И ОБ ЕВХАРИСТИИ (ТАИНСТВЕ ТЕЛА И КРОВИ) КАК О ПРИЧАЩЕНИИ ЭТОМУ ЕДИНСТВУ

(продолжение)*)

«Один Хлеб, и мы многие одно Тело,
ибо все причащаемся от одного Хлеба»
(I Кор. X,17).

Причащение евхаристическому Телу Христову настолько связано с бытием в Телу Христовом — Церкви, что если у членов христианской общины нет взаимной любви и единства веры, то не логично им и причащаться из одной Чаши.

Если «прихожанин» находится во вражде со своим братом, в этом не кается и не хочет с ним примириться, то причащение евхаристическому Телу Христову будет для него внутренним противоречием и фальшью; он будет тогда причащаться себе в суд и осуждение, позабыв о евангельских словах: «...Оставь дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Мт. V,24). Религиозная жизнь человека, не примирившегося с братом и идущего причащаться, находится в этот момент в нецеломудренном, болезненном состоянии, из которого ему через покаяние надлежит поскорее выйти.

С первых дней христианства быть в Церкви означало участвовать в ее евхаристическом собрании, но и наоборот: принимать участие в евхаристическом собрании это означало быть в любви и единстве с братьями.

В том, что Евхаристия есть таинство причащения, — то есть, что она есть «Трапеза Господня», которая, как и всякая трапеза, есть вкушение, а не просто сидение за столом, — не может быть сомнения ни у кого, кто изучал историю христианской Церкви. И кроме этого, всем должно быть ясно, что таинство причащения есть таинство не индивидуальное, а коллективное, соборное, и что, следовательно, Евхаристия на литургии совершается **всеми вместе и для всех**. Хотя и все другие таинства по существу совершаются тоже всей Церковью, всем «царственным священством» (лишь ру-

*) См. Вестник № 98, 1970. К сожалению, название статьи было утеряно.

ками предстоятеля), но для одного человека, тогда как Евхаристия совершается всей Церковью и для всей Церкви. Если, например, кто-нибудь идет в церковь на свадьбу, то это еще не значит, что он идет сам жениться. Если, например, кто-нибудь идет на крестины, то это еще не значит, что таинство крещения будет совершаться над ним. Если, например, кто-нибудь смотрит, как другой человек исповедуется у священника и получает от него разрешительную молитву, то это еще не значит, что глядевший на исповедь сам разрешен от грехов. Но когда христиане идут в «День Господень» на Его трапезу (на Евхаристию), то должно подразумеваться, что все они услышат призыв: «Примите, ядите...», «Пийте от нея вси...», и все будут приобщаться Тела и Крови Христовых, что приобщаться все они будут сами, а не будут только **смотреть** на совершающегося, как это возможно при других таинствах.

«Евхаристия» и «Литургия» это не то же самое. В широком смысле слова литургией (общественное служение) могло бы быть названо всякое общественное, не частное богослужение (например, Вечерня, Утреня...), но Литургией, в узком смысле слова, принято называть ту церковную службу, в конце которой совершается таинство Евхаристии и причащение.

Идя в храм на какое-нибудь общественное богослужение, люди могут и не иметь намерения причащаться, но хотят только помолиться со всеми и соборно послушать чтение Слова Божия — как в ветхом Израиле для этого, и только для этого, евреи ходили в синагогу. Но идя на Евхаристию, или оставаясь на Евхаристии за литургией, это должно означать, что христиане собираются принести бескровную жертву и причаститься Тела и Крови Христовых — как, в свое время, евреи для принесения жертвы шли не в синагогу, а в Храм Иерусалимский, ибо в синагогах жертвоприношение не совершалось. (Кстати сказать, православные храмы строятся не по образцу молитвенных домов — синагог, а по образцу Иерусалимского Храма, с его тремя частями — Двором, Святилищем и Святая Святых).

В первые века христианства на литургии, то есть на богослужении, предназначенном для совершения таинства Евхаристии, до конца могли оставаться лишь «верные», или «святые» (то есть не безгрешные, конечно — ибо один Бог безгрешен, — но крещеные люди). Не крещеные же, то есть «оглашенные», должны были удалиться при совершении таинства.

В наше время, когда «оглашенных» больше нет, а все христиане принимают крещение как только родятся, возглас священ-

ника «Елицы оглашении, изыдите!» нужно было бы заменить другим возгласом и предлагать выйти из храма всем, кто не хочет участвовать в Трапезе Господней.

Заставить причащаться тех людей, которые этого не хотят, ведь невозможно, — подобно тому, как нельзя заставить человека быть христианином, верующим или добродетельным, если он сам этого не захочет. Но если человек шел в церковь без намерения причащаться, то, помолвившись, послушав Слово Божие, проповедь пастыря, исповедав свою, общую со всеми, веру — пусть он идет с миром домой.

О том, что за Евхаристией причащаются все собравшиеся, говорят древнейшие христианские памятники. Так, в Учении Двенадцати Апостолов (Дидахэ) читаем (глава IX § 5), что «только не крещенные не пьют и не едят за Евхаристией». «Поевши за Трапезой Господней, благодарите Господа» (Гл. X, § 1). В Главе XIV § 1 читаем: «В день Господень собирайтесь для преломления хлеба и для благодарения» («Евхаристии»). И, разумеется, когда они преломляли хлеб, то все они его и ели. В Дидахэ мы видим отношение к Евхаристии как к Святой Пище. Об этом же говорит Юстин Мученик: «В день солнца, то есть в воскресенье, в Евхаристии принимали участие все члены общины и это общее участие завершалось общим причащением Тела и Крови Христовых». «А тем христианам, которые не могли прийти на Евхаристическое собрание, диаконы разносили Святые Дары по домам». (Древняя Церковь знала практику хранения Святых Даров на дому и самопричащения). Подтверждение общего причащения на Литургии мы видим в Анафоре Василия Великого: «Нас же **всех** от Единого Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу, во единого Духа Святаго Причастие».

Общее причастие было нормой в древней Церкви *).

*) См. об этом подробно: — «Тезисы докладов о современной покаянной дисциплине профессора Петроградской Духовной Академии протоиерея о. Тимофея Налимова». («Путь» № 18. Париж 1929).

— Проф. Борис Ив. Сове: «Евхаристия в древней Церкви и современная практика» (см. «Живое Предание» ИМКА-Пресс Париж 1937, стр. 171-195).

— Проф. Прот. Николай Афанасьев: «Трапеза Господня». Париж 1952 (особенно стр. 69-92).

— Проф. Архим. Киприан (Керн): «Евхаристия». ИМКА-Пресс Париж 1947, стр. 27, 33, 320-23, 339, 342.

В этих трудах читатель найдет и обширную библиографию по вопросу об Евхаристии.

С развитием и расширением Церкви, в связи с ее социальной организованностью, то, что в начале было спонтанным, добровольным, само по себе разумеющимся, со временем стало «общественным» и норма внутренняя должна была выразиться в норме внешней, то есть в дисциплине и узаконенности. Так, **Антиохийский Собор**, в своем Втором Правиле, отлучает от Церкви всех входящих в храм, слушающих Священное Писание, но не причащающихся Святым Тайнам.

Это Правило Антиохийского Собора было подтверждено Деятым «**Апостольским Правилем**», так же угрожающим отлучением от Церкви тех, кто, присутствуя на Евхаристии, сам не причащается (начало V века).

Оба эти Правила признал имеющими обязательное значение и правилами неизменяемыми **Собор Трулльский** (691 г.).

То же подтвердил и **Седьмой Вселенский Собор** (787 г.), то есть последний Вселенский Собор Восточной Церкви — тот самый Собор, который установил догмат иконопочитания.

Канонист Зонара, толкуя 2-е Правило Антиохийского Собора, считал, что верные, которые не причащаются во время Литургии, даже если они это делают из благоговения и как бы из смиренномудрия, — подлежат отлучению.

Святой Григорий Двоеслов был также строг к непричащающимся христианам, пришедшим в церковь: «Кто не причащается — говорил он — тот да покинет собрание!»

Мы знаем как болел душой за ослабление евхаристического сознания в Церкви великий святитель **Иоанн Златоуст** и как часто и резко он об этом высказывался в своих проповедях.

Как же это случилось, что в наше время все это будто бы забылось и люди «ничтоже сумняшеся» идут к литургии без намерения причаститься? Можно ли это объяснить людским неведением истории Церкви, неведением литургических текстов, в частности, например, неведением содержания «тайных молитв» евхаристического канона. В этих молитвах (читаемых от имени **всех** пришедших на Евхаристию) говорится об общей «благодарности» (евхаристии) **всех** участвующих, о воспоминании страданий Христа, имеющих спасительное для **всех** значение, о воспоминании Тайной Вечери с ее причащением **всеми** апостолами, о причащении **всех** собравшихся в храме, где устами священника **все** молятся такими словами: «Тебе предлагаем живот **наш** весь и надежду, Владыко Человеколюбче, и просим, и молим, и мили ся деем: сподоби нас

причастится небесных Твоих и страшных Таин, сея священныя и духовныя трапезы, с чистою совестью во оставление грехов»...

В тайных молитвах литургии Василия Великого видно еще больше, что причащение, которое сейчас будет совершаться в церкви, относится ко всем собравшимся; в молитве после предложения Св. Даров читаем: «Нас же **всех**, от единого хлеба и чаши причащающихся, соедини друг ко другу, во единого Духа Святаго причастие, и ни единого нас в суд или во осуждение сотвори причаститися Святаго Тела и Крове Христа Твоего!...»

В молитве перед «Отче наш» священник молится: «Боже наш... очисти нас... научи совершати святыню во страхе Твоем, яко да чистым свидетельством совести нашея приемлюще часть Святынь Твоих, соединимся святому Телу и Крови Христа Твоего: и приемше их достойне, имамы Христа живуща в сердцах наших, и будем храм Святаго Твоего Духа... даждь нам, даже до последнего нашего издыхания, достойне примати надежду Святынь Твоих в напутие жизни вечныя...»

Всем известно, что в Молитве Господней слово «хлеб наш насущный» понимается в Церкви не только как хлеб, который мы едим дома, но и как Хлеб евхаристический, которого мы просим Бога дать нам «днесь», за литургией.

Святоотеческое толкование «хлеба» находится в согласии с толкованием «Хлеба Жизни», о котором говорится в евангелии от Иоанна «Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища и Кровь Моя истинно есть питие». (Ио. VI, 54,55).

После «Отче наш» есть опять тайная молитва такого содержания: «...Господи Иисусе Христе, Боже наш... прииди во еже освятити нас, иже горе со Отцем седяи, и zde нам невидимо спребывай: сподоби державною Твоею рукою преподати нам пречистое Тело Твое и честную Кровь, и нами **всем** людям...», а в молитве Василия Великого: «Владыко Господи... сподоби нас неосужденно причаститися пречистых сих и животворящих Твоих Таин, во оставление грехов, в Духа Святаго причастие».

Дальнейшие слова на литургии «Святая святым!» относятся конечно ко **всем** христианам, собранным в храме и которые все будут причащаться.

«Причастен», который теперь неуместно почему-то поется, к сожалению, только при причащении священнослужителей, в древней Церкви пелся всем народом во время всеобщего причащения.

В конце литургии, уже после уноса Святых Даров на жертвенник, все поют: «Да исполнятся уста **наша** хваления Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко сподобил еси **нас** причаститися святым Твоим божественным, бессмертным Тайнам...» И дьякон после этого от лица **всех** собравшихся говорит сктению: «Прости приемше божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных Христовых таин, достойно благодарим Господа!»

Все эти молитвы, взятые из евхаристического канона, указывают на то, что все собравшиеся в храме участвуют в причащении реально, а не только духовно.

Тут нужно остановиться на вопросе о «духовном причащении». Святые евхаристические Тело и Кровь Христовы называются «**духовной трапезой**», «страшными **небесными Тайнами**», «**словесной, бескровной, духовной жертвой**»... (см. «тайные евхаристические молитвы»). На наших престолах, «совершая» таинство Тела и Крови, мы творим это «в **вспоминание**» (Лк. XXII, 19) той единственной и неповторимой кровавой Голгофской Жертвы, когда реально, раз и навсегда была пролита на Кресте Кровь Господа.

Но за таинством Евхаристии хлеб и вино, силою Святого Духа все же **прелагаются** в Тело и Кровь Христовы, и мы таинственно приобщаемся не хлебу и вину, а именно Телу и Крови Христовым. Это Тело и Кровь не должны быть понимаемы в смысле химическом или физическом. Такое понимание осуждается Православной церковью. В церковной, монашеской практике предвидится случай, что если какому-нибудь человеку, подходящему причащаться, померещится, что в чаше не хлеб и вино, а мясо и кровь, то такой человек «находится в прелести», должен осенить себя крестным знаменем, отогнать бесовское наваждение и прочесть молитву: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его! Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и в веселии глаголющих: «Радуйся пречестный и животворящий Кресте Господень, прогоняяй беси силою на тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во ад шедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой честный, на прогнание всякаго супостата»...

Это говорит о том, что к Святым Дарам подобает подход религиозный, благочестивый, но не рационалистический. По православному вероучению, мы причащаемся поистине Телу и Крови Хри-

стовым, но под видом хлеба и вина. Это выражение «под видом» предполагает не только вид, но и вкус и физические свойства хлеба и вина: Святыне Дары, если долго остаются непотребленными, могут заплесневеть...

Таинство Евхаристии есть таинство веры. Поэтому, Агнец Божий, раздробляемый на престоле храма, содержит в себе непостижимое, превышающее всякое разумение, сочетание двух миров. (Православное сознание шокируется католическим анализом Святыне Даров, в котором употребляются не духовные, а аристотелевские рационалистические термины субстанции и акциденции.) Временное и пространственное пронизывается таинственным и непонятным образом, вечным и трансцендентным, как это очень хорошо выражено в словах священника при разделении евхаристического Тела: «Раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый, всегда ядомый, и никогда же иждиваемый, но причащающийся освящай».

Однако, если слово «духовный» можно применить в отношении православного понимания вещества Евхаристии, то слово «духовный» никак нельзя применить к нашему причащению этого святого вещества, к нашему приобщению Тела и Крови Христовых на литургии.

Человек, находящийся в храме и не причащающийся сам, может, конечно, смотреть на то как причащаются другие, но это смотреть нельзя назвать «духовным причащением», ибо причащение есть вкушение устами, принятие в свое тело Святыне Таин.

Евхаристическое Тело питает всецелого человека. Питает не только дух и душу, но «проходит во уды, во все составы, во утробу, в сердце». Оно сообщает целому человеку бессмертие (молитва св. Меттафраста после причащения). Оно есть «лекарство бессмертия». Мы выше уже говорили, что евхаристическое вкушение имеет значение не только для целостного человека (для его «цела» = тела), то есть не только значение антропологическое, но так как человек есть микрокосм, то оно имеет значение даже космическое.

Созерцание того как причащаются другие можно назвать медитацией, духовным благочестивым размышлением, молитвой, сочувствием... но никак не «причащением». «Причащаться» никак нельзя «духовно», но только лишь вкушая хлеб и вино. Поэтому, если даже кто-нибудь свое благочестивое созерцание и молитвенное сочувствие и назвал бы неосторожно «духовным причащением», то нужно сказать, что такое «духовное причащение» ни в

какой мере не равноценно настоящему причащению. Простые и всем понятные слова Спасителя на Тайной Вечери «приимите, ядите!...» и «пейте из этой чаши все!»... никак не должны быть поняты «духовно». И ни у кого из ранних христианских писателей — ни в Дидахэ, ни у Игнатия Богоносца, ни у Иринея Лионского, ни у Киприана... — нет намека на возможность понимания причащения в духовном, интеллектуальном или символическом смысле слова!

Нет никакой, даже в самой малой степени, равнозначности или тождественности в понятии «духовного причащения» и причащения реального (в смысле вкушения). От этого нужно предостеречь людей, так же как и от неверного понимания слова «антидор» — то есть частиц просфор, которые раздаются прихожанам после литургии. Хотя слово «антидор» происходит от *anti* = вместо и *donon* = дар, но нельзя думать, что вкушение антидора после обедни в какой-то мере заменяет причащение Святыне Дарам *). Антидору, как всякому священному предмету, как иконе, как агисме (св. воде), артосу и пр. подобает почитание (*proskynesis*), но не поклонение (*Latreia*), как Святыне Дарам, в которых происходит таинственное явление Самого Господа.

Евхаристическая трапеза есть, конечно, трапеза духовная, религиозная и мистическая. Апостол Павел, в Послании Коринфянам, ясно проводит различие между таинством и едой «агапами» (1 Кор. XI), но ни он и никто в Православной Церкви не говорил, что таинство Евхаристии должно быть понимаемо лишь спиритуально, образно, как этому стали учить некоторые протестанты. Как мы уже говорили, из «вещности» Евхаристии православные апологеты выводили даже против монофизитов и докетов догмат о реальности боговоплощения. Никогда в православном литургическом богословии не забывалось, что в «воспоминание» Трапезы Господней в Сионской горнице, о ней нужно не только размышлять ментально, а ее и «творить» («Сие творите в Мое воспоминание»).

Знакомство с православным литургическим богословием говорит нам о том, что когда в истории Церкви первохристианские агапы отделились от Евхаристии, в узком смысле этого слова, то эта последняя, то есть таинство причащения, совсем не превратилось в мистический спектакль, лишь в духовное созерцание и воспоми-

*) хотя по православному Уставу его и полагалось бы вкушать натошак (см. Чиновн. лит. св. Иоанна Златоустаго).

вание, но продолжала быть все же хотя и мистической, но в то же время и реальной трапезой.

Евхаристический хлеб, который мы вкушаем, есть Хлеб хотя и не обыкновенный, есть Хлеб веры, Хлеб небесный и духовный, но все же он есть Хлеб, а не идея, и этому Хлебу мы с трепетом поклоняемся как Хлебу Жизни и его вкушаем.

(Продолжение следует)

Архим. Александр СЕМЕНОВ ТЯН-ШАНСКИЙ

О НЕКОТОРЫХ ТРУДНОСТЯХ В ЖИЗНИ РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ

В газете «Фигаро» от 2. 1. 1971 г. помещено описание жизни римско-католической Церкви за 1970 г. Автор его о. Лорантен давал необыкновенно объективные отчеты о II-м Ватиканском Соборе и часто его мнения о происходящем были весьма сходными с взглядами нас, православных.

К сожалению, глубокий кризис переживает сейчас не только римская, но и наша Церковь. Вследствие этого нам не так легко быть полезными католикам, как бы того хотелось. Все же наш кризис менее глубокий. Он касается главным образом взаимоотношений православных поместных церквей. Ни догматического, ни литургического кризиса у нас нет, хотя на практике здесь и не все благополучно. Потому католики, если бы они того захотели, могли бы и сейчас найти у нас некоторую помощь себе. Мы имеем до сих пор выдающихся богословов, а мнения древних Отцов, общих с католиками, полезны всегда. В традициях нашей церковной жизни и в настоящее время есть живые примеры, к которым нашим западным братьям стоило бы присмотреться.

К сожалению, мы можем нередко сомневаться — интересуют ли нами католики и действительно ли они желают возвращения к общим источникам (*retour aux sources*)? Кое-где, несомненно, этот интерес был — труды некоторых деятелей в Шеветонь, например о. Руссо — о соборном устройении Церкви

и значении епископов, многие книги Даниелу, ныне кардинала, например о Святой Троице и, в частности, о вопросе «филиокве», так же как некоторые изменения в литургической жизни свидетельствуют о явном сближении с Православием.

Но вот два острых вопроса о выборе Папы и о целибате духовенства решаются как будто без оглядки на Православную Церковь и на наше древнее, общее с католиками, Предание. Коснемся в настоящей заметке именно этих двух вопросов.

Относительно выбора Папы встал вопрос о замене коллеги кардиналов другим органом. Одно течение, которое, как это ни странно, возглавляет такой выдающийся епископ, как примат Бельгии Суененс, желает, чтобы избрание Папы происходило бы представителями епископов всего мира как некоего сверх-епископа.

Эта точка зрения, конечно, неприемлема для православного сознания. До разделения церквей авторитет Папы определялся тем, что он был епископом первенствующей в любви и мудрости Римской церкви. Ни о каком всемирном епископе речи быть не могло. Если бы чудесным образом снова произошло «соединение Церквей», то оно могло бы произойти только при двух условиях, касающихся церковного строя, при признании сакрального равенства всех поместных церквей и их возглавителей и при признании почетного морального (в смысле совета) первенства Римской церкви и ее главы.

Поэтому с православной точки зрения было бы желательным избрание римского Папы, тем или иным способом, церковным народом Римской поместной церкви. Это не предрешало бы вопроса о национальности самого Папы, так же как состава той избирающей Папу коллегии, которую установила бы Римская поместная церковь. Все же труднее представить, чтобы территория Римской поместной церкви распространилась бы за пределы Италии.

Что касается женатого или семейного духовенства, то тут, даже не касаясь древней практики, можно ограничиться указанием на одно только нередкое явление. Разве это не убедительно, что Православная церковь знает множество семейств священнослужителей, где семейная жизнь является во всех отношениях добрым примером? Во многих таких семьях жена священника «матушка» является лучшей его помощницей в его церковном деле; она поет в храме, нередко регентствует, преподает в церковной школе, участвует в церковном благотворении

и организует церковные празднества и тем самым вместе с мужем священником привлекает к церковной жизни своих детей, которые естественным образом становятся сами церковными деятелями, а нередко и священниками. Наличие семейных иереев, разумеется, не исключает и священников монахов и целибатных.

Ни один из этих видов священства не может, конечно, быть гарантией против неудачи, против горьких драм и падений, но возможность выбора образа жизни священника все же избавляет от многих опасностей.

Настоящая статья не должна быть понята как горделивое стремление поучать католиков, а как желание прийти им на помощь.

Мнение, высказанное здесь, разделяется очень многими мыслящими православными и как раз теми, кто мечтает о сближении с Римской церковью.

Д. ПОСПЕЛОВСКИЙ

К ИЗБРАНИЮ ПАТРИАРХА ПИМЕНА

2-го июня единогласно, поднятием рук, избран новый Патриарх московский и всея Руси Пимен. Это четвертый патриарх после восстановления патриаршества в России в 1918 году, отмененного Петром Великим. Уже сам метод голосования — открытое, поднятием рук, — и избрания — единогласное — внушает некоторые сомнения в подлинности выборов, в том, что Пимен является действительно избранником Церкви и церковного народа. Иначе обстояли дела на Поместном церковном соборе 1917-18 гг. Во-первых, собор заседал несколько месяцев, а не 4 дня, как теперь. Во-вторых, выборы были закрытые, тайные, затем старейший церковнослужитель во время литургии вытянул билетик-жребий с именем одного из 3-х получивших наибольшее число голосов. Так был выбран патриархом Тихон, митрополит Московский.

Метод избрания митрополита Пимена патриархом, как в 1945 году митрополита Алексия, свидетельствует о явном вмешательстве в выборы советской власти, опасавшейся, что при подлинно закрытых выборах может пройти нежелательный кандидат. Однако, отсюда не следует делать вывода, что Пимен, равно как в свое время и покойный патриарх Алексей, — ставленник атеистической власти. Митрополит Пимен — подлинно церковный человек, монах и молитвенник. В самые тяжелые годы Православной церкви советского периода, в 1927 году, семнадцатилетним юношей Сергей Извеков избирает монашеский путь и постригается в Троице-Сергиевой Лавре с именем Пимена. (*Журнал московской патриархии*, № 2, 1971 г., стр. 6-7).

Надо помнить, что это были годы наибольшего разгула «Живой Церкви», которая при помощи и прямой поддержке советской власти отбирала у Православной церкви храмы, имущество и нередко прибегала к доносам на каноническое духовенство, по которым пострадали многие пастыри Церкви и верующие миряне. В том же 1927-м году патриарший местоблюститель митрополит Сергей Старгородский, только что вышел из заключения, подписав своеобразный «конкордат» с советской властью, обещая ей полную лояльность и гражданское повиновение. Более того, в своем заявлении от 24-го июля 1927 года митрополит Сергей благодарил советскую власть за ту заботу о нуждах религии, которую она

проявляет. Как указывает церковный историк Никита Струве в этом послании «подразумевалось предательство мучеников» за веру, пострадавших от большевиков, в числе которых был и покойный патриарх Тихон, и митрополит Петроградский Вениамин, расстрелянный в 1922 г., и тысячи других (Christians in contemporary Russia, Лондон, 1967 г., стр. 36-45 и др.). Но такова была цена, которую согласился заплатить митрополит Сергей, чтоб получить от советской власти какое-то хоть формальное признание Православной церкви и чтобы таким образом можно было начать законное противодействие «Живой церкви», т. к. до этого советская власть соглашалась признавать только последнюю.

Вступить на путь церковного служения, особенно служения в Православной, а не «Живой церкви», в эти годы было актом редкого мужества, преданности вере и глубокой религиозной искренности. Повсеместно закрывались храмы и монастыри. Вскоре и Троице-Сергиева лавра, где постригся в монахи Пимен, была закрыта, и о дальнейшей судьбе молодого монаха Журнал Московской Патриархии говорит смутно. Упоминается только, что он был рукоположен в июле 1930 года в сан иеродиакона, а «через полгода» в сан иеромонаха. Затем следующим годом в его церковной деятельности назван 1946-ой: «До 1946 года он служил священником в Благовещенском соборе города Муром...» (там же, стр. 7); но не говорится, сколько лет он там служил — это обычная формула ЖМП, прикрывающая годы ссылки, лагерей, тюрем. По неофициальным сведениям иеромонах Пимен провел большую часть тридцатых годов в концлагерях.

Сталинская мясорубка по разному перемалывает людей. Некоторые, выйдя из лагерей, стали активнейшими борцами за человеческие права в СССР. К таким людям принадлежит Анатолий Левитин-Краснов, церковный писатель и один из создателей Инициативной группы защиты гражданских прав в СССР, недавно получивший трехлетний срок лагерей за свою политическую и церковно-публицистическую деятельность — при Сталине он отсидел в лагерях 7 лет. На митрополите Пимене сталинская мясорубка отражалась совсем иначе. За пределами молитвы и поста он не проявляет никакого гражданского мужества и идет полностью на поводу у советской власти.

После его хиротонии во епископа в 1957 году первой его кафедрой, на которой он стал уже широко известным миру была кафедра митрополита Ленинградского. Занял он ее в 1961 году и провел на ней меньше 2-х лет. За это время, по неофициальным,

но достоверным источникам из кругов Московской патриархии, в Ленинградской епархии было закрыто около половины всех действовавших храмов и даже отобрана у Пимена епархиальная резиденция.

В октябре 1963 года Пимен переведен на кафедру митрополита Крутицкого и Коломенского, по престижу самую главную митрополицию кафедры Московской патриархии.

За время пребывания митрополита Пимена на посту Митрополита Крутицкого произошло два шумевших события в его епархии: дело священников Эшлимана и Якунина и дело протоиерея Всеволода Шпиллера. В ноябре-декабре 1965 года два московских священника, отец Николай Эшлиман и отец Глеб Якунин обратились с двумя посланиями: одно в адрес Председателя Президиума Верховного совета СССР Подгорного, другое в адрес Патриарха всея Руси Алексия, о положении Церкви в СССР. В первом речь шла о нарушении гражданскими властями законодательства о культах, о гонении, особенно в годы 1957-1964, на Церковь и верующих, о насильственном закрытии храмов. В письме адресованном Патриарху и разосланном также всем епархиальным архиереям, авторы говорят о закрытии в эти годы около половины всех действовавших храмов и упрекают духовенство, особенно епископат, в податливости гражданским властям, в готовности закрывать храмы при малейшем давлении со стороны власть имущих. Эшлиман и Якунин настаивают на необходимости немедленно созвать Поместный собор и, в частности, отменить решения Синода епископов 1961 года, лишившие приходского священника и епархиального архиерея всех административно-хозяйственных прав и передавших все эти права двадцаткам мирян, в среду которых нередко местные власти проводят своих людей, разрушающих затем приход изнутри. В дополнении к этому обращению Эшлимана и Якунина к Патриарху говорится, что летом 1965 года с аналогичным обращением отменить решения 1961 года обращалась группа из 8 епископов во главе с архиепископом Ермогеном (1). Тем не менее, вместо того, чтобы разобрать послание Эшлимана и Якунина, управляющий епископ Москвы, т. е. Митрополит Крутицкий и Коломенский Пимен наложил 13 мая 1966 года резолюцию административного

(1) В то время Калужским. Архиепископ Ермоген за это поплатился кафедрой и был выведен в ноябре 1965 года на покой в монастырь в Жировицах, что в Белоруссии (М. Бурдо, «Патриарх энд профетс», Лондон 1969 г., стр. 239-240).

характера: «Чтобы защитить Мать Церковь от нарушения ее спокойствия, мы считаем нужным... запретить им служить в священном сане впредь до раскаяния...» В этом запрещении нет и речи о том, правы ли авторы послания или нет. (см. Майкл Бурдо, «Патриарх энд профетс», Лондон 1969 год, стр. 189-227; цитаты в обратном переводе).

В 1966 году при помощи вмешательства властей и подтасовки двадцатки была сделана попытка развалить один из самых крепких приходов Москвы — храм Николы, что на Кузнецях, где настоятелем уже многие годы служит очень заслуженный, популярный и крепкий священник, о. Всеволод Шпиллер. В это же время делались попытки снятия с прихода самого настоятеля. Только множество петиций прихожан, адресованных властям, получивших значительную огласку, заставили власти прекратить эти попытки. Правящий же архиерей, Митрополит Пимен, ничем не защищал приход, отделялся отговорками: «Это от меня не зависит... Это не в моих силах... Я не имею права...» (М. Бурдо, стр. 311; дело Шпиллера, стр. 304-329).

Митрополит Пимен — активный член Всемирного Совета мира и Советского комитета защиты мира. В этом качестве он часто выступает с резкими осуждениями американской политики во Вьетнаме, но он ни разу, хотя бы для равновесия, не выступил с критикой советской политики. Даже когда один из ведущих деятелей Всемирного Совета мира и Пражской мирной конференции протестантский чешский пастор Хромадка выступил с осуждением оккупации Чехословакии, Пимен не присоединил своего голоса к этому осуждению. Он даже не воздерживается от комментариев, где казалось бы можно было по крайней мере промолчать. Так он даже публично осудил Светлану Аллилуеву после ее побега на Запад: «Все заявления Аллилуевой являются попыткой создать для себя привлекательный на Западе ореол религиозного ищущего человека...» И тут же он присовокупил, что религия никогда, даже при Сталине, не преследовалась в СССР, как бы «позабыв» собственное многолетнее сидение в лагерях. (Известия, 2 июля 1967 г.: «Ответы митрополита Пимена»).

На подобные не соответствующие действительности заявления шел и известный предшественник Пимена на посту митрополита Крутицкого Митрополит Николай; но он зато боролся за сохранение церкви и за открытие храмов, монастырей, семинарий. В отличие от митрополита Николая, Пимен и здесь на чисто церковной ниве проявляет поразительную пассивность. Так по каналам Сам-

издата на Запад попал текст письма члена Комитета гражданских прав в СССР Валерия Чалидзе, адресованного митрополиту Пимену, от 26 февраля 1971 года. Чалидзе обращается к митрополиту с призывом помочь восстановить храм в городе Нарофоминске, в котором уже 40 лет нет действующей церкви. Чалидзе получил просьбу-жалобу от верующих Нарофоминска, которые как он пишет: «...желая возродить храм... искали благословения у отцов духовных и пришли к своему Владыке, к Главе Церкви, уповая на его благословение. Однако, в благословении Владычьем было отказано... секретарем Вашим, отцом Виктором. По мнению секретаря Вашего, если начальство не согласно открыть церковь, значит Богу не угодно, а значит и благословлять не следует.

...Верующие отвергнуты пастырем своим. Но возможно ли, чтобы Владыка своей волей отверг пришедших к нему, что он откажет в благословении и заступничестве тем, кто хочет молиться...» (2).

Гражданскому лицу, борцу за гражданские и человеческие права в СССР, Чалидзе, не понятна такая робость архипастыря. Не понятна она и молодой религиозной интеллигенции, и многим пастырям. На только что прошедшем соборе сделан крупный шаг к воссоединению со староверами, к прекращению 300-летнего раскола в русской церкви. Но назревает другая опасность, опасность нового раскола, отхода от канонической официальной церкви тех слоев верующих, которые не мыслят «отправление религиозного культа» в отрыве от миссионерской деятельности церкви, в отрыве от борьбы за свободу совести, а значит и за свободу религии. Для них сохранение статуса кво московской патриархии и возглавление ее хотя и искренне верующим, но столь робким человеком может оказаться нетерпимым.

(2) см. полный текст письма на стр. ???

ОБРАЩЕНИЕ К ЕПИСКОПАМ ВСЕРОССИЙСКОГО СОБОРА(1)

...В настоящее время все люди доброй воли признают, что Русская Православная Церковь была и остается великой духовно-нравственной силой, воспитывающей своих чад в духе нелицемерного патриотизма и Верности Родине.

Для того, чтобы Церковь и в будущем могла плодотворно совершать и расширять свое святое служение, необходимо устранить переживаемые ею ныне затруднения, возникшие вследствие подрывной деятельности исконных врагов Христианства и Отечества.

Суть этих затруднений состоит в следующем:

острый недостаток в священнослужителях, псаломщиках и регентах, что ставит Епархиальных Архиереев в крайне затруднительное положение в деле строго канонического подбора и руководства клиром;

недостаток духовной, богословской и богослужебной литературы;

недостаток в монастырях, пребывание монахов и монахинь в миру;

недостаток в храмах в ряде больших городов и населенных пунктах, что приводит к распространению сектантства и другим болезненным явлениям;

Болезненно отражающееся на формировании детской души отсутствие обучения детей христиан Божьему Закону. (Право на такое обучение дает христианам имеющая силу закона «Конвенция о дискриминации в области образования...»)

В этих условиях назрело время ходатайствовать перед высшими органами Советской Власти о расширении прав и возможностей, предоставляемых нашей Церкви советским законодательством, с учетом опыта братских Христианских Церквей в ряде дружественных нам государств Восточной Европы.

ПРЕОСВЯЩЕННЫЕ ПАСТЫРИ И ВСЕ ЧЛЕНЫ ВЕЛИКОГО СОБОРА!

(1) Печатаем лишь вторую фактическую часть обращения, которое было распространено среди членов Всероссийского собора. В первой части вся вина в церковном нестроении переносится — возможно для отвода глаз — на мифических внешних врагов России.

Смиренно и усердно молим Вас войти в ходатайство перед Правительством:

1. о предоставлении Русской Православной Церкви, её высшим органам, Епархиальным Управлениям, Монастырям и Исполнительным Органам Приходов права юридического лица с полной гражданской правоспособностью;

2. о разработке четкого законодательства о правах и обязанностях уполномоченных Совета по делам религиозных культов при Совете Министров СССР.

3. о разработке четкого законодательства о монастырях Русской Православной Церкви, о предоставлении монастырям ограниченной автономии, совершенно необходимой для духовного окормления монашества в соответствии с Канонами Св. Церкви;

4. о разрешении факультативного преподавания детям христиан Закона Божия;

5. об открытии ранее действовавших духовных семинарий и курсов по подготовке псаломщиков и регентов;

6. об учреждении при Московской Патриархии и некоторых Патриархальных управлениях типографий со славянским и русским шрифтом и открытии более широко подписки на Церковные издания;

7. об открытии храмов в г. Горьком и других городах и населенных пунктах, где они действовали ранее и затем закрыты в период 1956-1966;

8. об открытии Киево-Печерской Лавры, Дивеевского женского монастыря;

об открытии (во исполнение пожелания блаженных памяти Святейшего Патриарха Алексия) женского монастыря в с. Бородино Московской области.

Усердно молим ВЕЛИКИЙ ПОМЕСТНЫЙ СОБОР, в дополнение и уточнение Реформы Приходского управления Архиерейского Собора 1961 г., принять решение о введении настоятелей прихода в состав исполнительных органов в качестве равноправных членов. Это привело бы указанную реформу в необходимое соответствие с практикой Апостольской, Св. Канонами и советским законодательством о культурах.

Невозможно охватить все стороны и нужды церковной жизни, всего, что ждет от Вас многомиллионный Православный народ, взоры которого в эти дни в священном трепете обращены к обители преподобного Сергия. Болезнь их сердец Вы чувствуете и знаете, Преосвященные Владыки, досточтимые пастыри и все участники Великого Собора.

Итак, да выполнит каждый свой христианский долг.

Мы надеемся, что выразили в этом Прощении нужды и чаяния многих верных чад Русской Православной Церкви.

Сознавая свое недостойство, припадаем к Вашим стопам и смиренно молим великодушно простить наше дерзновение и внять наше усердной мольбе.

Иерей Георгий Петухов
Московская обл., г. Загорск, пр. Красной Армии 201-61
Иеродиакон Варсонофий (Хайбулин)
г. Гороховец, Владимирской обл., Калинина, 6
мирянин Петр Фомин
г. Москва Д-182, Н-Бодрая, 15-92

По поводу автокефалии Американской Православной Церкви

В РЕДАКЦИЮ «ВЕСТНИКА»
ОТВЕТ Н. А. СТРУВЕ И В. А. ВОДОВУ

Дорогие друзья Никита Алексеевич и Владимир Александрович.

С особым вниманием я прочел в последнем «Вестнике» (№ 98) ваши ответы мне.

Вряд ли нужно нам на страницах «Вестника» вести споры об Американской Автокефалии. Практически это, прежде всего, местное американское дело. Однако, всякий выдвинутый жизнью вопрос должен получить, по возможности, объективное освещение и способствовать «выработке христианского мировоззрения» у читателей «Вестника». Я, конечно, понимаю, что каждый пи-

шущий отражает известную меру **своего** отношения к вопросу. Это неизбежно. Тем паче Вестник, думаю, должен быть «бесстрастен» в объективном подборе материала. Например: помешая доклад Митрополита Иринейя на Соборе Православной Церкви в Америке, нужно было бы рядом поместить второе послание патриарха Афинагора об американской автокефалии. Или. Если в редакцию поступает много писем по поводу моего письма и мнения пишущих разделяются «приблизительно поровну» за и против, то следовало бы поместить, на ряду с вашими письмами, хоть одно возражающее вам письмо.

Думаю, что нам следует очень опасаться превращения Вестника, в каком бы то ни было смысле, в «партийный», «групповой», или «односторонний» орган.

Теперь мое категорическое возражение против досадного непонимания моих слов. Никита Алексеевич в своем ответе мне написал: «Вы пишете, что Московский Патриархат — ничто».

Я этого никогда не писал. Не только таких слов, но и подобных мыслей у меня нет. Я не писал, что в России нет православной Церкви или иерархии. Но писал, что Церковь там, как плененная, не способна вести «свободные переговоры», что «такой реальности просто-напросто нет». Но ведь и Вы в Вашем мне ответе, говорите то же самое: «...т. к. всем очевидно, что Московский Патриарх не свободен и эта несвобода неизбежно распространяется на подчиненных...», а следовательно и на дела и на возможность «вести какие-либо свободные переговоры». Двух мнений, кажется, нет да и быть не может!

Мы с вами смотрим на **суть** дела совершенно одинаково и нам спорить незачем.

Протоиерей Александр Киселев
Март 1971 г. Н. И.

По поводу рецензии Р. Гуля о «Вестнике».

Не буду говорить о выступлении Р. Б. Гуля против церковных лиц, ответственных за новое каноническое положение Американской Церкви: это выступление настолько низко, настолько демагогично, что оно не заслуживает внимания.

Вестник Р. Гуль удостоил отрицательной, но вежливой критикой, и на этом уровне разговор еще возможен. Р. Гуль упрекает **Вестник** и лично меня в неточных сведениях. С этого слова начинается нарочитое соскальзывание на двусмысленность, столь характерную для Р. Б. Гуля. Ибо дело не в неточных сведениях, а в неправильных оценках, и Р. Б. Гулю, как русскому писателю, различие между этими словами должно быть известно. В каких неточных «сведениях» упрекает меня Р. Гуль?

1. В утверждении, что **патриарх Алексей был свободным человеком**, чего я в своей статье не говорил, но что, по странной логике вывел Р. Гуль (так или иначе, это не сведение, а оценка). 2. В утверждении, что правые круги ополчились против автокефалии (опять-таки не сведение, а оценка). Здесь я готов признать, что определение **правый** не адекватно, следовало бы сказать «круги, которые ставят политические задачи выше церковных и руководствуются несколько упрощенным антикоммунизмом». 3. Наконец, в утверждении, что одной юрисдикцией стало меньше. Тут дело сложное, так как, упразднив экзархат, Московская Патриархия сохранила временно в своем ведомстве приходы этого экзархата, что противоречит той поместности, которую сам Патриархат провозгласил и которой руководствовался. Если, как говорят, Московский Патриархат всячески тормозит переход своих приходов в Автокефальную церковь, то тут явное нарушение подписанного договора... Но даже при таком нарушении, Американская церковь достаточно сильна, чтобы жить и развиваться в той свободе, которую она не столько получила, сколько завоевала благодаря своей стойкости и силе.

Р. Гуль приводит цитату из моей книги. Вырванная из контекста, она служит полным осуждением Церкви; на самом деле она лишь констатирует, что после двух лет отпора, церковные руководители сдались и перестали сопротивляться **видимо и открыто** преследованиям. Это как раз показывает всю сложность обстановки в Сов. России, которую упорно не хочет замечать Р. Б. Гуль. Кто возглавил церковную оппозицию в 1959 году? Не кто иной как митрополит Николай Крутицкий, считавшийся всеми (и отчасти

заслуженно) «красным епископом», «чекистом в рясе» и так далее. Как объяснит Р. Б. Гуль такую перемену? Для Р. Б. Гуля все ясно и просто, с одной стороны белое, с другой черное, никаких средних и сложных ситуаций нет.

С такой же упрощенностью (напоминающей методы советских журналистов) Р. Б. Гуль подходит и к делу двух священников. По оплошности Редакции не было указано, что статья Аркадьева получена из Советской России, что почувствовал Р. Б. Гуль, но не захотел принять во внимание. И тут, дело куда сложнее, чем предполагает Р. Гуль. Я до сих пор считаю, что письмо двух священников было пророческим актом, внутренне освободившим Церковь, восстановившим ее достоинство. Думаю, что таким оно будет в глазах истории. Заслуга авторов письма велика, но это не значит, что все в их заключениях и дальнейших шагах правильно. Р. Б. Гулю известно, что третьим автором письма был мирянин, человек очень сложной, трагичной судьбы, прошедший через службу в К.Г.Б., а затем через лагерь, и, в связи с этим, с несколько экзальтированной психикой. Этот третий имел большое влияние и наталкивал двоих на слишком резкие, а иногда и просто сумасбродные поступки. Так, под его влиянием, о. Глеб Якунин поверил в неминуемый конец мира и, продав все свое имущество, удалился в горы...

Действительность сложнее политических схем. Историческое зло, сконцентрировавшееся в тоталитарных государствах, не должно позволять нам забывать о том зле, которое среди нас или в нас самих.

Сложность ситуаций предполагает большую проницательность. Эта сложность да не будет извинением наивности. Но и обратно, будем остерегаться от того, чтобы разрубать узлы топором: от этого пострадает только веревка. Будем блюсти «как опасно ходим» и совместно выяснять истину.

Точка зрения Р. Б. Гуля была бы ценна, если бы она была критикой созидательной, призывом к осторожности. Бить же лезвием и обухом направо и налево никому не приносит пользы.

В связи с вопросом Американской автокефалии нами получены письма как поддерживающие точку зрения Редакции (от О. Раевской, Поливановой, Лопухиной), так и противоположные ей (от П. Купфера, В. Самарина, Л. Томан). Однако Редакция приняла решение прекратить всякие споры по этому вопросу.

Никита Струве

ЛИТЕРАТУРА и ЖИЗНЬ

Свящ. Павел Александрович Флоренский (род. в местечке Евлах [ныне Азербайджан] 9 янв. 1882 г., умер мученической смертью в Соловках 15 дек. 1943 г.) — крупнейший русский религиозный философ, богослов, ученый с энциклопедической широтой интересов: математик, физик, искусствовед, филолог, историк и инженер. Своей знаменитой магистерской диссертацией, защищенной в 1911 году, „О духовной истине“, изданной в 1914 году под названием „Столы и утверждение истины“, П. Флоренский совершил настоящую революцию в области русского богословия: в ней Флоренский решительно порвал со ркольной сухой манерой подавать христианские догматы, ввел в богословие экзистенциальный элемент и выразил опыт Церкви на живом литературном языке эпохи.

По мнению В. Розанова, П. Флоренский был самым умным человеком в России и обладал гениальностью равной Блэзу Паскалю. После Революции П. А. Флоренский много работал в области искусствоведения (известны его работы об обратной перспективе и иконе), а так же в области физики и техники где, по свидетельству „Философской энциклопедии“ (т. V, М. 1970, стр. 337), „сделал ряд открытий и изобретений, имевших народно-хозяйственное значение в государственном масштабе“. Однако эти заслуги не оберегли П. Флоренского от репрессии: в 1933 году он был арестован и до своей кончины пробыл десять лет в концентрационных лагерях. Имеющиеся свидетельства об этом последнем периоде его жизни говорят о необычайной силе его духа и о благотворном влиянии его на окружавших его заключенных.

В настоящем номере мы печатаем первую часть его „Воспоминаний о детстве“, состоящих из четырех частей (Религия, природа, поэзия, семья). По качеству письма, по глубине изощренного психологического анализа, это произведение П. Флоренского достойно лучших памятников мемориальной беллетристики о детстве, наряду с Аксаковым, Толстым, Горьким, М. Прустом и др.

Ред.

П. А. ФЛОРЕНСКИЙ

Воспоминания детства



П. А. Флоренский
(в студенческие годы)

РЕЛИГИЯ.

Мне было вероятно лет шесть. Мы шли с папой по городу. Когда проходили мимо церковной ограды, нам повстречался местный священник. Вероятно только что кончилась литургия, он был в фиолетовой камилавке. Вдруг к моему смущению он поздоровался с папой, и папа начал с ним о чем-то говорить, как я почувствовал, — предупредительно. Я же переминался с ноги на ногу и выглядывал исподлобья. Прощаясь, священник вынул из кармана просфору и дал мне, но я испугался, и тогда взял просфору за меня папа. После этого мы ходили по городу, и я постарался сделать, чтобы папа не сказал ни слова о происшедшем, — так оценивалась эта встреча мною. Но повидимому папа не придавал ей особого значения и вовсе не говорил об ней. Только по возвращении домой, слегка шутливым тоном сообщил тете: «Вот Павля получил просфору», и хотел отдать ее по принадлежности. Меня охватило невыразимое смущение, я убежал в самую дальнюю комнату и, спрятавшись под кровать, слышал оттуда, что просфору

клали в буфет. Впрочем, все церковные термины в этом рассказе я применяю задним числом, тогда же просфора и всё подобное было для меня «то» и «оно». Церковь, в которой я никогда не был, священник, к которому никогда не приближался, странный вид и невиданно-белый у хлеба цвет просфоры, всё вместе чрезвычайно насторожило мое чувство особенного, и я смущался, стыдился и боялся всего этого именно потому, что остро сознавал, как необыкновенное. Мне страстно хотелось взглянуть на свою просфору, но я не только мучительно стеснялся спросить о ней у старших, но и сам наедине не смел открыть буфет, чтобы посмотреть ее. Около месяца шла во мне внутренняя борьба; наконец решился: тайком залез в буфет, но просфоры не оказалось. Еще через большой промежуток времени, делая над собою большое усилие, но приняв тон небрежный, я спросил об ней, как-бы между прочим, у тёти Юли. «Она тебе была не нужна и ее отдали няне», такой был несколько подчеркнутый ответ тёти.

Этот случай в сжатом виде представляет религиозную почву, на которой предстояло вырасти моим позднейшим убеждениям: говоря современным языком психоанализа, во мне был задержанный аффект религиозного чувства: я был отрезан от религии столь надежно, что силою внутреннего влечения сам надстраивал воздвигнутую между мною и религией стену. Чем больше была религиозная потребность, тем далее я, поставленный на известный путь, добровольно и стремительно бежал от возможности удовлетворения. И хотя родители не сделали здесь никакого явного насилия, но они повернули мое духовное развитие так, что много сил было затрачено мною на построение тюрьмы для себя самого, а затем — на разрушение этих стен.

Конечно, вероятно и этому всему надлежало быть в общем ходе жизни, и я менее всего жалею на бывшее.

Да кроме того, что строил, то я строил, и один за это ответственный. В моменты полного духовного освобождения, когда вдруг сознаешь себя субстанцией, а не только субъектом своих состояний, и предстоишь пред Вечным, остро и предельно четко сознается полная ответственность решительно за всё, что было и есть, за состояния самые пассивные, и столь же решительная невозможность отговориться внешними воздействиями и внушениями, наследственностью, воспитанием, слабостями. Тогда ясно: нет ничего, что «сделалось», «произошло», «случилось», нет никаких просто фактов, а есть лишь поступки, и знаешь: совершил их я. Я — и

точка: далее не может быть речи ни о ком и ни о чем. Не иначе — и в отношении всего того, что было даже в раннейшем детстве.

Но понять содержание жизни можно лишь по связи ее с окружающим. В этом смысле мне необходимо говорить об атмосфере нашего дома.

Родители мои хотели восстановить в семье рай, и в особенности детей своих держать в этом первозданном саде. Не знаю, было ли случайностью, что и я с своей стороны шел навстречу их желаниям; скорее склонен я думать, что каким-то предчувствием они стали осуществлять оказавшееся в каком-то смысле возможным. Не только они хотели, но и я был способен по райски воспринять мир. Но в этом рае не было религии, по крайней мере не было исторической религии. Она отсутствовала тут не по оплошности, а силою сознательно поставленной стены, ограждающей упомянутый рай от человеческого общества. Это не было отрицание религии в порядке метафизическом, не было оно таковым во внутреннем сознании родителей, а тем более не было таковым в их высказывании. В этом отношении наша семья весьма мало походила на большинство семейств нашего круга, как неверующих, так и верующих. И для тех, и для других основные вопросы религии представлялись в то время ясными и решенными, либо отрицательно, либо положительно: соответственное решение внушалось, далее, младшим членам семьи. Таковыми были и знакомые нам семьи: в одних детях внушалось, что Бога нет, что религия — суеверие, и духовенство — обманщики; — в других — напротив. Но там и тут молодое поколение вырастало в той или иной определенности. В нашей же семье суть религиозного воспитания заключалась в сознательном отстранении каких бы то ни было, положительных или отрицательных, религиозных воздействий извне, в том числе и от самих родителей. Никогда нам не говорили, что Бога нет, или что религия — суеверие, или что духовенство обманывает, как не говорилось и обратного.

Впрочем, тут были оттенки. Мама абсолютно молчала на этот счет, но в непроницаемом молчании ее мне смутно чувствовался какой-то тончайший запах слова «нет». Тётя тоже молчала, но по разным признакам я угадывал в этом молчании вынужденность, прикрывавшую какое-то слово глазами, «да». Наконец, папа, чрез которого проходил религиозный меридиан нашего дома, повидимому чувствовал себя наиболее свободно в отношении религиозного высказывания. Он говорил «нет», которое равнялось «да», и «да», звучавшее как «нет». Если я напомним, что евангелием его

был Гётевский Фауст, а библией — Шекспир, то станет окончательно ясной религиозная тональность. В отце мне часто слышались религиозные настроения, преимущественно как чувство бесконечности и параллельные ей чувство ничтожества человека, его слабости — умственной и нравственной. Отсюда естественно вытекала резиньяция, переходившая в фатализм, и всепрощение, — или скорее всеизвинение. Отрицание религии, в смысле — или атеизма вообще, или осуждения некоторой исторической формы религии, все равно какой, вызывало в нем решительный отпор. К утверждению он отнесся бы мягче, но не преминул бы охладить жар скептической мыслью о невозможности абсолютных истин, а потому — и несправедливости утверждать свою относительную истину в ущерб остальным.

Когда мы гуляли, папа иногда, хотя и не слишком часто, как-то вскользь бросал фразу о Высшем Существо, и я никогда не слышал, чтобы он отрицал Его личность. Пожалуй, в каком-то смысле он признавал её, но боялся какой-либо определенности в этом отношении.

Иногда папа употреблял слово Божество, и гораздо менее охотно — слово Бог, а когда произносил это слово, то с оговоркою вроде «То, что называют Богом», или «Высшее Существо, которому дают имя Бог», и т. д.

Этими оговорками он хотел подчеркнуть мне и себе, или скорее себе и мне, несоизмеримость Высшего Существа с человеческим познанием и с человеческим словом, и чтобы привычка к известным именам и словам не ослабила этого чувства безмерности расстояния между ним и нами, отец, как я понимаю, считал необходимым пользоваться словосочетанием и наименованием каждый раз новым. Это значило у отца: «Я тебе не могу сказать ничего определенного по этому вопросу, тут нет никаких твердых знаний; но вот сейчас мне думается то-то и то-то». Это воздержание от имени было не из мотивов благоговения, а из познавательной добросовестности, с одной стороны, и из общественной осторожности — с другой. «Не говорю о том, чего в точности не знаю», и «избегаю в этих вещах определенности, потому что отсюда обычно возникает нетерпимость, вражда и фанатизм». Иногда от папы можно было услышать нечто вроде космологического доказательства Бытия Божия, но тоже в виде какого-то придаточного предложения, т. е. психологически придаточного, — отцу не хотелось говорить об этом в упор, предположением главным, или он считал неправильным высказывания прямые. Кроме того, и тут уже гораз-

до более прямо, он указывал на всенародный исторический опыт: «Если всё человечество всегда имело религию, то не может быть, чтобы за этой верой не было никакой реальной основы». Поэтому папа считал легкомысленным отрицание религии, но вместе с тем полагал невозможным выделить эту реальную основу из исторически сложившихся верований человечества. Как ни безнадежно звучала его оценка религии, однако, я сознаю, именно из оборотов его кратких суждений выкристаллизовались зародыши моих позднейших убеждений, что собственно нет религий, а есть одна Религия. Религия весьма меняет в человечестве свой вид, и весьма неодинакова ценность ее различных обликов. Но основные силы, её складывающие, сходны. Может быть под влиянием положительной религии Конта, или дальнейших развивателей правых контистов, из которых папа имел когда-то отношение к Гейнцу, эмигрировавшему в Америку с именем Фрея, а может быть и непосредственно по историческому материалу, которым папа постоянно занимался, он усматривал три основные силы, которыми складывается религия. Первая из них — это чувство мировой беспредельности и бесконечности, затерянность человека в мире несоизмеримо большом сравнительно с его собственным ничтожеством; отсюда — стремление оформить эту беспредельность, понимая ее, как существо, и, по бессилию нашего ума, не умея мыслить о мировой бесконечности иначе, как по аналогии с человеком. Вторая сила — это чувство связи отдельных людей между собою, в пределе образующее народы и человечество. Папа считал однако, вопреки Конту, мысль о человечестве слишком далекой, смутной и бледной что ли, чтобы придавать ей практическое значение: ведут человеческую жизнь связи гораздо более тесные и меньшего масштаба, но за то более непосредственно присущие нашему сознанию, именно связи кровные. Настойчиво, и чем далее, тем настойчивее, папа твердил, что это ощущение родства неотъемлемо от него, что свою жизнь он ощущает распространенной в своей семье и что эти чувства он утверждает как явление физиологическое, не может не утверждать, ибо иначе ему больно. Когда он познакомился с книгой Фюстель де-Куланжа «La cité antique» то нашел в ней, как говорил он, полное подтверждение своих взглядов, и заставлял меня, вероятно в классе III или IV-м, читать её. Об этом будет сказано на своем месте, пока же следует отметить лишь, что папа усмотрел в этой прекрасной книге то, чего он не говорил и не думал, может быть даже что было враждебно ему, ибо перевернул эту книгу на голову. Ведь Фюстель де-Куланж доказывает, что древняя религия была почитанием обоготворенных пред-

ков, что культ предков определял всю гражданскую жизнь и что люди имели значение в глазах древности лишь как жрецы восходящей линии своего рода. По Фюстель де-Куланжу, глаза античного человека были всецело обращены назад, в прошлое. Папа говорил как раз об обратном, и в отношении родовой связи скорее уж походил на древнего еврея, ждущего мессию, нежели на римлянина, о котором рассказывает Фюстель де-Куланж. По многим причинам, предки для отца были несуществующими, он не думал, не мог и не хотел думать о них. Основная добродетель римлян была *pietas erga parentum*, обладавший ею был *pius*. Отец мой отнюдь не мог бы быть определен в этом смысле, как *pius*, ибо его *pietas* была *erga puerorum*. Его взор был обращен вперед, и он, хотя и не был жрецом, но вполне мог бы быть им, но жрецом линии нисходящей, жрецом семьи.

Помимо фактической оторванности от своего рода, он и волил этой оторванности, потому что хотел всецело предать себя иному служению, хотел свободы от предков и всех тех отношений, убеждений и чувств, к которым обязывала жизнь в роде. Общество, всегда твердил отец, складывается вовсе не из отдельных людей, этих атомов человечества, а из молекул, далее в общественном смысле неделимых; каждая такая молекула есть семья. Хорошо помню, он всегда в этих случаях пользовался термином атом и молекула. Но о роде, который есть подлинный элемент общества, делающий его историческим, папа никогда не говорил, и это тем более удивительно, что он всегда читал исторические сочинения и в частности, если не иначе, то вынужден был бы столкнуться с понятием рода у того же Фюстель де-Куланжа. При его уме и наблюдательности не может быть, чтобы он в самом деле проглядел эту основную историческую категорию. Мне совершенно ясно, он не видел её, а не хотел видеть. Весь строй мысли его современников, всецело исключавший родовую связь, в данном отношении ответил каким-то глубоко личным и повидимому весьма болезненным ранам души, так что папа окружил это опасное в своей душе место особой стеной, за которую раз навсегда был возбранен вход; а весь жар души, которому свойственно собираться сюда, он направил на семью. Таким образом, вторая сила религии — культ предков — в нем произвела почитание семьи, если не культовое, то по характеру своему весьма близкое к религиозному.

Наконец, есть еще третья сила религии; это — совокупность таинственных явлений, то что теперь называется высшей психологией.

Отец мало интересовался ими, и, кажется, считал в духовном отношении их мало ценными в своей по крайней мере жизни; если я правильно толкую его недостаточно отчетливо вспоминаемые мною слова, то отец полагал, что на земле нужно заниматься земным, а таинственному придет свое время, после смерти, хотя сейчас невозможно представить себе даже приблизительно, каково это будущее. Он не отрицал безграничности неведомого и возможности объявиться оттуда многим неожиданностям, но не видел способов точного познания этой области, да не имел и вкуса к ней, хотя «фантастика» в литературе его привлекала.

Никогда я не слышал от него утверждения, что всё кончается с этой жизнью, и напротив, многие его слова имели смысл лишь при предпосылке обратной. Но и тут он избегал прямых высказываний, хотя я чувствовал за его словами благожелательность к мысли о посмертном существовании. Однако, когда умерла теть Юля, и папа пошел за мною к нашим знакомым Худачовым, куда отправили меня в день ее похорон, чтобы я не видел этого зрелища, то он сказал мне по дороге: «Твоя теть у Бога, он взял ее к себе». и после этого никогда об ней со мною не говорил.

Вот три силы религии. В исторических религиях их области спутаны между собою и затуманены различными представлениями, которые не то что бы не имели смысла, но которые настолько затемнены и трудно дешифрируемы, что невозможно разобраться в них, и во всяком случае это дело специалистов. Практически же, пользование такими «идеями» внушает ложную мысль об абсолютной истинности и потому является вредным. Отец не был враждебен ни одной религии, но самыми здоровыми склонен был считать, как мне кажется, китайский культ предков и магометанство. Но и там и тут он подчеркивал как наиболее мудрую удовлетворенность малым и настоящим, нежелание искать абсолютной истины в китаизме и нехищность культуры магометанства. Вообще же он всегда противопоставлял спокойствие и мирность Востока всегдашнему мятению и насильничеству Запада, и считал, что мудрость и правда — удел первого.

Я сказал, он не был враждебен ни одной религии; но — и не признавал ни одной. Что же касается до христианства, то отец видел его высоту, но именно она и внушала ему опасение: религия, внушающая мысль о своей абсолютности, не может не быть источником нетерпимости. В этом отношении особенно угрожающим представлялся ему католицизм. Но может быть, я слишком много и слишком определенно говорю об его взглядах: мое пони-

мание их сложилось из многих его полувывысказываний и случайно оброненных слов; при такой передаче возможны и неточности.

Во всяком случае, основной смысл его убеждений передан мною правильно. Он подтверждается также в отношении отца к духовенству. Отец к служителям культа всех исповеданий, и даже вер, всегда бывал неизменно почтителен и внимателен. Это были знаки внимания не лично им, а представителям тех верующих, для которых эти лица были особыми людьми. Папа признавал духовенство, но мотивом признания было тут не согласие с содержанием веры, а боязнь оскорбить человека в его заветных верованиях. «Как я могу не быть почтительным к тому, кто множеством людей признается их представителем пред Богом и является лицом священным», многократно слышал я от него. И действительно, он был почтителен одинаково ко всему духовенству. Ксендзы и пасторы одобряли его не менее, чем муллы и раввины, и даже с незидами, столь вообще недоверчивыми, он ладил, как был в хороших отношениях с духовенством православным и армяно-григоринским.

Не знаю, не замечали-ли они, что папа по существу вовсе не с ними или им казалось в порядке вещей не вникать в вопросы метафизические, но они как будто довольствовались знаками почта и внимания и о большем не заговаривали. С горечью думается мне, может быть отец практически был прав, что люди в абсолютной истине и не нуждаются и проживут без нее удобнее: большинство чувствует себя уютно, когда нет в мысли четких углов и граней, и бывают довольны, если внешние обстоятельства позволяют не вспоминать об них.

Человечность — вот любимое слово отца, которым он хотел заменить религиозный догмат и метафизическую истину. В человечности видел он всеобщий регулятор всех общественных и личных отношений взамен религии права и морали, — единственное, что должно быть проповедуемо и внушаемо. Отец отнюдь не был сентиментален и вовсе не мечтал в толстовском духе об уничтожении войн, государственных законов, национальных и сословных перегородок. Он не только видел наличную необходимость всех этих начал общественной организации, но повидимому и не надеялся на возможность устранения их в какой-либо исторически учитываемый срок. И потому к революционным идеям он относился и недоверчиво и презрительно, как к мальчишеским притязаниям переделать общество, которое таково, как оно есть, по законам необходимости, — и с тревогою за последствия революцион-

ных попыток, имеющих привести Россию «в полный хаос». Отец был убежден в неизбежности этого потрясения государства, и его мысли рационального порядка впоследствии сплелись с предчувствиями грозящей катастрофы и болезненными ощущениями черной тоски. Он был горячим поклонником государственности, и многое в правительственном курсе считал ошибкой, бывшей ему особенно яркой на Кавказе; но в потрясении государственного строя он предвидел поправными справедливость, здравый смысл, порядок жизни и все общественное строительство и, несмотря на свою исключительную терпимость, в часы особой мрачности, с болью и как-бы сам опасаясь своих слов, приводивших к нулю его предыдущие рассуждения о том, что надо же всем дышать, мрачно добавляя самому себе: «Равноправие, равноправие... а все-таки нас (т. е. Россию) съедят господа евреи. Это — народец, с которым придется еще повозиться. Но никакого выхода я не предвижу...». И еще более мрачно замолчал.

Итак, он не смотрел на жизнь утопически, но верил, что доступно и вполне осуществимо смягчить жестокость общественных форм, изнутри «очеловечивая» их. Отец считал возможным изменить внутренний характер всей жизни, если пронизать ее чувством «человечности», и считал Восток в этом отношении гораздо большего достигшим, нежели Запад. Человечность же, теплота и мягкость человеческих отношений исходит из семьи, — так верил он. Никогда не слыхивал я от него упоминания о В. В. Розанове; но мне думается, несмотря на полную противоположность их склада, у отца построенного на чувстве долга и порядочности, а у Розанова — на глубочайшем внутреннем восстании против этих начал, у них в мыслях об историческом и общественном значении семейного начала нашлось бы много общего. Человечность — единственный лозунг, который может быть общим, общим всем людям, который дает правильное понимание нравственным заповедям и требованиям религии, который не ведет к ожесточению и нетерпимости. Вот, собственно, что должно быть воспитываемо в людях. Шекспир, в оценке папы, был исключительным воспитателем этого чувства человечности. Папе звучали как откровения этого чувства в особенности два стиха из «Отелло», — он говорил их нам в русском переводе:

Она меня за муки полюбила,
А я её — за состраданье к ним.

— Выше и глубже этого, — прорывалось иногда у отца, — ничего не сказано и нельзя сказать.

Мой рассказ пошел тут вбок, и об отце сказано либо слишком много, чтобы не нарушить ритма повествования, либо слишком мало, чтобы представить на самом деле облик отца. Но без этого забегания вперед я боялся бы остаться совсем непонятым. Не трудно зато теперь догадаться, каковы были взгляды отца на мое религиозное воспитание. Он, если подвести итог, в религии собственно ничего не отрицал, кроме самого жара утверждения, и, поскольку люди религии метафизически не заостряют своих верований, и не считали их большими нежели «символ и подобие», как любил опереться на Гёте папа, — религия им вероятно одобрялась, по крайней мере у широких масс. Но наряду с этим скептическим полу-признанием, отец, сам не сознавая, имел и догмат, свой догмат и свою абсолютность. Разумею собственную семью. Не знаю откуда, в отце был, в сущности, очень большой аристократизм, и его предупредительность, деликатность и великодушие, в особенности же отсутствие мелочности, были несомненно и почти неприкрываемо снисхождением высшего к низшим. Он всегда чувствовал себя **обязанным** словно каким-то высоким положением, хотя такового вовсе не было. Но замечательно, и окружающие, по положению равные и даже высшие, принимали этот оттенок отношений внутреннего неравенства, как правильный. Отец никогда «не позволял себе» такого, что вполне естественно допустить в отношении с равным и что было бы недостойным, когда имеешь дело с людьми совсем другого круга, и притом сознающими это расстояние.

Поэтому отец бывал всегда не соответственно мере равенства деликатным, щедрым, великодушным и широким, если только, возмущенный явной неправдой, или несправедливостью, не проявлял кратковременного, но тоже не по мере равенства, бурного, гнева. Однако ни первое, ни второе не вызывало возражений. Характерно то, что это аристократическое самосознание никак не было искусственным. Напыщенное, приподнятое, театральное — этот разряд явлений был отцу самым враждебным из всех, даже худшим фанатизма, и малейшая тень аффектации вызывала в нем брезгливость почти физическую. Я уверен, вышеописанный характер отношений к людям коренился в каких-то наиболее глубоких слоях его личности и именно потому им самим, как наиболее постоянный в его жизни, не замечался. Но это аристократическое самосознание распространялось и на семью. Нашей семье, по молчаливому, но очень определенному убеждению отца, надлежит быть особенной, и, допустимое в других семьях, у нас не может быть допусти-

мо. Папа не осуждал других, и сравнительно редко — обсуждал. Однако это не было следствием христианской или даже общерелигиозной заповеди, а скорее вытекало из мысли часто повторяемой отцом, что «люди — всегда люди, со своими слабостями». Тут был оттенок невысокой оценки людей. Отец не был мизантропом; но в его черзучур большой снисходительности был привкус, хотя и благожелательный, мизантропии, как будто отец раз навсегда решил ожидать от окружающих всего худшего, хотя в жизни старался взывать к лучшему. Эти окружающие были старым человеческим родом. Наша же семья должна была стать родом новым. Тот, старый, род пребывал в законах исторической необходимости и исторической немощи; в отношении же нашего, нового, отец словно забывал и законы истории, и человеческое ничтожество: почему-то от нее ждалось историческое чудо. Не количественно, нет: отец был слишком трезв, слишком далек от тщеславия, чтобы думать о своей семье внешне преувеличенно, или переоценивать её, или даже желать для нас в будущем чего-нибудь чрезвычайного. Подобная мысль заставила бы его брезгливо поморщиться, а внешне высокое положение он, кроме того, считал обременительным. Но качественно семья предполагалась исключительной: она представлялась ему сотканной из одного только благородства, великодушия, взаимной преданности, как сгусток чистейшей человечности. Вот почему терпимое в других было-бы нетерпимо в нас; вот откуда вдохновлялся я полу-сознательно установкой, что прилично и что неприлично. Неприличное было таковым не само по себе, а в отношении к нашей семье, вообще к нам, как изъятым из всего общества, мне не представлялось «нехорошим», когда «неприличное» делали и говорили другие, в других семьях. Но мое сознание не вмещало, чтобы нечто подобное могло случиться у нас, и попытка мысли представить такой случай вела за собою ощущение мировой катастрофы: если это, то всё рухнет и наступает такая смута, что мысль уже ничего не может далее различать.

К неприличному относилась религия и всё с нею связанное; мне кажется, она была в моем сознании самым средоточием неприличного. Религиозная жизнь вообще стыдлива и ищет спрятаться от чужих соглядатайствующих глаз. При моем же воспитании бессознательно было сделано всё, чтобы вызвать это именно чувство. О религии у нас никогда не говорилось ни слова, ни за, ни против, ни даже повествовательно, как об одном из общественных явлений; разве только более-менее случайно проскакивало слово о

культе дикарей или каких-нибудь египтян, но и то очень отрывочно. Чем ближе к Церкви было какое-либо понятие, тем менее оснований могло ему быть упоминаемым в нашем доме: терпелась, и то еле-еле, лишь религиозная археология, умершая настолько, что можно было твердо рассчитывать на ее религиозную бездейственность. Люди «верят» по своему. (Хорошо мне запомнилась эта форма «верят», вместо **веруют**, ничуть не случайное, ибо **веруют** — значит духовно знают некоторую объективную реальность, а **верят** — значит имеют некоторое субъективное состояние уверенности, может быть насквозь иллюзорное); итак, люди верят по своему, и было бы бесчеловечно и жестоко отнимать у них это чувство уверенности, эти иллюзорные верования, поддерживающие в них человечность. Верят — и пусть верят. Но это — прочие люди. А мы должны понести в жизнь человечность в ее непосредственно виде, без символов и подобий; мы не должны нуждаться в искусственных поддержках. Детское сознание должно быть выросшим вне гнета на него каких-бы то ни было представлений религии, чтобы иметь возможность, когда окрепнет, свободно определить себя так или иначе, и свободно, без предвзятых внушений в детстве, без известных привычек мысли и чувства, не стесняемое образами фантазии, не увлекаемое навязанными симпатиями и антипатиями — свободно избрать себе религию, какую сочтет истинной. Впрочем, об этом предстоящем выборе говорилось другим и себе, сколько я понимаю, больше в отвлеченной формулировке, по справедливому ходу теоретической мысли. На самом же деле, за этой формулировкой лежало чувство уверенности, что отвлеченной возможностью выбора религии дело навсегда и ограничится, и что мы, дети, навсегда останемся в сознательно недопустимом до четкости и потому в сознательно поддерживаемом неустойчивом равновесии религиозном чувстве, из которого может получиться всё что угодно, но не получается, не допускается к получению, ничего определенного. Я не могу утверждать, но мне представляется, что папино желание было видеть вас, мои дети, воспитываемыми в той же свободе от религии, чтобы и вы, и ваши дети и так в роды родов росла та новая религия, которую впоследствии Гюйо изобразил как «*La religion de l'avenir*», или что-то в этом роде, т. е. сильное, но бесформенное религиозное чувство.

Повидимому, папа был внутри себя предельно уверен, что это неустойчивое религиозное состояние настолько явно превосходит любую историческую религию, что он не допускал и мысли о возможности для нас в самом деле когда-либо избрать себе опре-

деленную религию, и верил, что коль скоро с детства отстранено прямое внушение религии, обратиться к ней впоследствии психологически невозможно. И потому он так беззаботно говорил о будущем религиозном самоопределении, говорил об этом даже как-будто благожелательно, не учитывая предстоящей в таком случае «нетерпимости», которая, хотя бы формально, должна же была учитываться в качестве сопровождающей будущей выбор религии. Когда отец говорил об «относительности» всего, он имел мужество договорить, что это, т. е. утверждение относительности, и есть единственная доступная нам абсолютность; а когда он говорил о терпимости, то иногда добавлял, что она — единственный догмат. Но папа не учитывал, что «нетерпимость», т. е. сознание полной правоты своей, имеет источником не содержание, а форму высказывания, и что коль скоро нечто признано абсолютным и догматическим, оно тем самым уже выделяет человека из ряда всех прочих и делает его, в его сознании, исключительным и противопоставленным тем, кто с его высказыванием не согласен. Проповедь терпимости как догмата неминуемо ведет к терпимости в отношении всех, такой догмат отрицающих. И тогда пришлось бы вступить в активную борьбу со всеми представителями иного верования. Но с нами бороться было нечего, а окружающих отец считал не доросшими до истинного понимания человечности и потому внутренне с ними не считался.

Большинство знакомых наших, папиных товарищей по гимназии и других были либо религиозно индифферентны, и для них религиозные вопросы представлялись давно решенными в сторону вялого атеизма, либо были воинствующими безбожниками. И то и другое было глубоко чуждо отцу, как невежественная и мальчишески легкомысленная расправа с вопросами, которых отец тоже не хотел трогать, но не как решенные, а как бесконечно трудные и неразрешимые. Кроме того, антирелигиозным убеждениям он не сочувствовал, как оскорбительным для большинства и, может быть, как опасным общественно. Как в смысле политическом, так и религиозном, если сравнивать его с большинством окружающих, он был скорее охранителем, очень мягким и скептически настроенным консерватором английского склада, нежели человеком стремящимся к новому. Когда я говорил, что в предстоящем для нас по его мысли выборе религии было предрешено, что никакой религии мы не изберем себе, — менее всего следует усматривать, будто нас воспитывали в смысле неверия. Если бы в этом выборе мы склонились к активному отрицанию религии, то отец, я уверен,

весьма огорчился бы, даже более, чем тем или другим выбором определенной религии, хотя и это было бы ему огорчительно. Равным образом, несмотря на все разговоры о терпимости, он несомненно был бы покороблен выбором не только другой религии, нежели христианство, но и другого исповедания, нежели православное.

Мне думается (об этом буду говорить впоследствии), в отце несознаваемая им и где-то очень глубоко была заложена склонность к Церкви.

Говоря о нем, необходимо учитывать ужасное время русской истории — царствование императора Александра II — в котором он провел всю молодость, и ужасную среду, окружавшую его в дни юности и всю последующую жизнь. По этому времени и в этой среде отец дал огромный отпор обступавшим его течениям мысли и собственное его мировоззрение, ответившее на вопросы времени и среды, преодолело всё что его окружало. Его понимание семьи и его отношение к религии в обстановке его жизни были проявлением, в конце концов, именно церковного начала, как его тогда можно было выразить, не разрывая окончательно с окружающим обществом: его воззрения были на границе терпимости. Вот почему, когда впоследствии определился мой выбор религии, отец, несмотря на огорчение, стал объяснять себе мой путь «атавизмом», припоминая некоторые склонности своего отца и, мне кажется, почувствовал и себя не совсем невинным в передаче религиозной наследственности.

Но кроме теоретических воззрений, в своей боязни религиозной определенности, отец был укрепляем также и побуждениями более частными; семейные обстоятельства были источником их. Если бы не они, то весьма вероятно и папа позволил бы сложиться в себе религиозным суждениям более определенным и более содержательным. Эти обстоятельства заключались в различии исповеданий, к которым по рождению принадлежали мои родители. Выше всего в мире цена начало семейное вообще, а свою семью — в особенности, и обоготворив мою мать, не только в силу глубокой и сознательной любви, но еще более из побуждений теоретических, как начало женское и священное, отец хотел привести к нулю различие исповеданий посредством практического уничтожения всех поводов, где могло бы напомнить о себе различие вероисповеданий. Папа не проявлял своей принадлежности к православной церкви из боязни хотя бы тончайшим дуновением холодного ветерка напомнить о своем православии маме; а мама

старалась воздать ему тою же деликатностью и поступала так же в отношении церкви армяно-григорианской. Тут предо мною убедительный пример, как самые благородные человеческие чувства ведут ко вреду, когда рассматриваются безотносительно к общей экономии жизни и, получив характер абсолютный, возносятся на место Божие.

Добрая и благородная боязнь причинить человеку близкому малейшее огорчение повела, правда, в совокупности с другими, содействующими, причинами, к лишению себя и наиболее дорогого в мире человека самой крепкой из жизненных опор, самого надежного из утешений. Между тем, если бы не гиперестезия деликатности (и большое сознание объективного блага религии), то почему бы не постараться укрепить религиозное сознание в той же маме, почему бы не поддержать ее связи с армянской церковью, разъяснив что принадлежность хотя бы к двум исповеданиям все же единит в самом важном и глубоком, а схождение на религиозном нуле, хотя бы и очень единомысленное, есть уход, пусть общий, от силы объединяющей в Вечности?

Вероятно, дело не сознавалось отцом столь ясно, потому что весь окружающий воздух внушал противоположное; а кроме того, и биографически здесь были обстоятельства усложняющие. Я имею в виду армянскую стойкость в сохранении своего, народного, — стойкость вполне в общем целесообразную, ибо без нее этот древнейший из культурных народов, имевший несчастье поселиться между жерновами мировой истории и потому все многие тысячелетия своего существования непрерывно избиваемый и все время тающий, давно попал бы уже в число народов вымерших. Его история — роковая из-за страны его, ибо кто-же может быть в безопасности, расположившись на линии огня между перестреливающимися окопами, на большой военной дороге всемирной истории?

Все культурные ценности Армении, талантливо создаваемые, были тщетной попыткой строиться в стремительном потоке, и все они непрерывно были уносимы течением. Ни один народ за свою жизнь не затратил столько усилий на культуру, как армянский, и кажется ни у одного коэффициент полезного действия не оказался в итоге столь малым, как у него же. Наконец и исключительная жизненность этого народа утомилась и, самый старый из всех, он оставил задачи государственного и культурного строительства и инстинктивно приложил заботу к задаче наиболее скромной — как сохранить в мире хотя бы существование малого своего остатка:

в самом деле, всё показывает предстоящее в будущем исчезновение самого народа.

Армянский консерватизм, так называемый, есть инстинкт народного сохранения, впрочем по существу своему безнадежный, ибо нельзя сохранить в истории того, что уже не имеет сил и воли раскрываться и духовно строиться.

Но во всяком случае в Армянах живет патриархальное начало и судоржное хватание за устои своей народности, явно утекающие. Мое личное убеждение: этому народу не только исторически безысходно и предстоит в качестве культурной задачи раствориться в других народах, внося сюда фермент древней и от крепости уже непроизводительной в чистом виде своей крови. Но инстинкт самих Армян, естественно, борется против судьбы, и в родах значительных эта борьба особенно болезненна. Так именно обстояло в роде Сапаровых.

Сапаровы были в числе нескольких армянских родов, относившихся к неоднородной и этнически плохо промешанной массе насильников Армении, к той ветке, которая самими Армянами называется «албаной». Это ответвление древнейших насельников средиземноморского бассейна, так называемой средиземноморской расой. В качестве этнической подстилки эта раса легла в до-Гомеровской Греции. В более чистом виде остатки ее дали древнейшие племена Лидийцев и Фригийцев. Углубляясь к северо-востоку, они частью смешались с окружающим при-Арагатским населением, частью же сохранились тут этническими конкрециями. Одна из таких конкреций сохранилась до раннего средневековья у берегов озера Гокчи и около этого времени, теснимая каким-то нашествием, продвинулась еще севернее, в нынешнюю Елизаветпольскую губернию. Там образовалось пять самостоятельных областей или меликств, впоследствии подпавших вассальной зависимости Персии, затем Турции. Несколько родов, вышедших отсюда, и частью поселившихся в Грузии, и происходивших от владетельных домов этих областей, помнило и помнит в своем прошлом **что-то** особенное, хотя в большинстве случаев плохо умеет выразить родовую память членораздельными словами. Мотивы родовой гордости давно забыты, но самое чувство превосходства от того не пропало. Эти роды отличаются, правда, особой красотой, и среди них выделяется, как известный в этом смысле, род Сапаровых. Эти роды влиятельны и пользуются признанием; опять из них выделяются Сапаровы и в этом отношении. Эти роды сравнительно с окружающими культурны и состоятельны, а Сапаровы были исключительно куль-

турны и весьма богаты. Но всего перечисленного все же недостаточно для объяснения чувства превосходства, свойственного роду, и глубокой фамильной гордости, Сапаровской гордости, за которыми определенно ощущается и ощущалось что-то несравнимо большее, нежели учитываемые мотивы сознания своей особенности. Эти роды издавна вступали в браки лишь в своем кругу, и туберкулез, опустошавший их, вероятно есть возмездие за эту исключительность.

В круг этих немногих фамилий, родственных между собою по происхождению и связанных разнообразнейшим свойством, входил и род Мелик-Бегляровых, ближайшим образом свойственный Сапаровым чрез старшую тетку мою Елизавету Павловну и некоторые другие браки. Мелик-Бегляровы владели одним из пяти впоследствии уже раздробившихся за уничтожением майората меликств и были у себя настоящими меликами, т. е. царьками.

Один из первых богачей на Кавказе, щеголь и законодатель мод, любитель красивых вещей дед мой Павел Герасимович Сапаров, вовсе не был противником иных культур чем патриархальная армянская.

В его доме восточные обычаи сочетались с симпатиями к русской государственности и европейской роскоши. В его дом привозились различные продукты и вещи из Персии и других восточных стран, причем в этом кругу родственных семей поддерживались сношения даже с Индией, куда выселилась одна из ветвей Мелик-Бегляровых. В обширном дворе деда часто останавливались караваны верблюдов, нагруженные восточными сластями. Шелковые ткани, ковры, драгоценная утварь наполняли дом, и склад жизни был наполовину восточный. Но вместе с тем дед и его братья поддерживали сношения с Францией и получали оттуда произведения роскоши и комфорта. В частности в доме было много заграничных вещей, редких не только по Тифлису. Были огромные северские вазы и серебряная утварь, вещи именные от французского двора, уж не знаю какими судьбами доехавшие до Тифлиса. Так, — у тети Ремсо были золотые часы с синей эмалью с именем, если не ошибаюсь, Марии Антуанеты; помню, у мамы резную ореховую табакерку с профилем Людовика XIII, по поводу которой один из хранителей Эрмитажа сказал моему брату, что подобных имеется лишь несколько экземпляров во всем мире, и что все они известны наперечет; припоминается медаль выбитая в память Шекспира и весьма близкая к его времени, и т. д.

Здесь не место описывать дом Сапаровых, я хочу отметить

лишь связь его с Европой. Из-за границы получались в особенности духи и ткани. Тут однако невозможно опустить одно обстоятельство: роскошь Сапаровского дома была роковой для него и послужила причиною гибели всего рода. Не зная, что предпринять, дед задумал обшить комнаты драгоценным лионским бархатом. Действительно в Лионе был изготовлен по специальному заказу какой-то необыкновенный бархат, затем оказавшийся на стенах Сапаровского дома. Но ручное производство бархата, как известно, губительно для легких, и среди рабочих Лионской фабрики было много туберкулезных. Вместе с бархатом, жадно удерживающим в себе всякую заразу, в дом Сапаровых приехал и туберкулез. Повидимому предрасположение к нему уже было в этом и родственных родах, но бархат послужил толчком болезни, и с тех пор Сапаровы и их потомки вымирают от нее один за другим. Эта болезнь была Сапаровским роком, который дал всем членам настроение двойственное и трагическое: под слоем вкуса к земному и установки себя на земном содержится другое сознание — тщеты всех попыток и обреченности.

Но не следует думать, что с Запада были взяты Сапаровыми только внешние удобства и роскошь. Этот дом давал приют многочисленным иностранцам, появлявшимся на Кавказе; сношения с ними поддерживались и после, так что очевидно дом не был лишен культурных интересов. Так, постоянно бывал в доме академик Абих, первый исследователь геологии Кавказа; он-то, кстати сказать, и дал толчок моей матери уехать в Петербург ради дальнейшего образования.

В доме господствовал язык французский, наряду с русским: и тот и другой были тогда на Кавказе признаком культуры. Сапаров был близок со многими русскими, представителями гражданской и военной власти, принимал у себя.

В частности, одним из постоянных посетителей дома был известный генерал Комаров, который впоследствии женился на сестреннице моей матери Нине Шадиновой, от какого брака родилась писательница Ольга Форш. Что касается армяно-григорианского исповедания, то дом Сапаровых представляется мне, насколько я узнал об нем, бесконечно далеким не только от церкви армянской, но и вообще от религии, несмотря на мистически чуткую конституцию всех членов семьи. Религия, повидимому, никем не отрицалась, так притупилось восприятие ее.

У армян, первого из народов, принявших христианство, оно утратило свою ферментативную силу и, всегда готовые пролить свою

кровь за верность христианству, и нечуждые практической стороне церковности, армяне давно уже не возбуждаются своим исповеданием, как это вообще бывает со всем, слишком привычным. Лишь внешний толчок обнаруживает религиозную массу тех из них, кто только что казался пустым в этом смысле. Тут появляется твердость, опирающаяся на двухтысячелетнюю привычку к верности.

Итак, в доме Сапаровых было достаточно широты к одному и безразличия к другому; к тому же обострение армянского национализма относится ко временам, гораздо более поздним, а тогда на Кавказе общим лозунгом, и вместе, хорошим тоном, была установка на Россию и на русскую культуру. И тем не менее, даже в такой семье как Сапаровы, далеко не охранительной ни в церковном, ни в национальном, ни в культурном смысле, брак дочери, притом любимой, с русским, притом же без положения и состояния, был делом вопиющим. Уже отъезд матери в Петербург вызвал гнев деда, и она уехала против его воли, с помощью брата Аршака, бывшего тогда, как и требовала мода, русским нигилистом. Дед терзался вторгшимся к нему в дом просвещением такого рода, хотя в моей матери, собственно, нигилизма никогда не было.

Но вполне естественно его ожидание всего худшего. Знакомство матери с моим отцом произошло в Петербурге, и когда мать должна была уехать в Тифлис, отец же остался в Петербурге докнчивать курс в Институте Путей Сообщения, переписка их была на имя Аршака — тогда называвшегося Аркадием Павловичем — Сапарова, т. е. иными словами, скрывалась от деда. Мне не известно в точности, говорила ли с ним моя мать о возможности своего брака, на который она уже дала свое согласие. Но, прямо или косвенно, она выяснила себе его несогласие, и повидимому вполне определенное. Уже после кончины его, последовавшей за разорением какими-то темными делами около его богатств со стороны управляющего и родственников, и пожаром дома, она поступила согласно своему решению, но вследствие этого считала себя порвавшей со своим отцом и непрощенной им, а потому, из слишком большой шепетильности, оторвавшейся и от своего народа. Мне кажется, в этих чувствах матери, однако определивших тональность ее внутренней жизни, гораздо больше болезненной и преувеличенной порядочности, нежели здравого понимания жизни. Но вероятно какие-нибудь неосторожные слова деда нанесли рану матери не в меру болезненную, вследствие повышенной ее моральной чувствительности, и всё дальнейшее стало обходить эту рану,

постепенно расширяя добровольно исключаемое ею из своей жизни. При более легкой оценке жизни, легкой во всех смыслах, конечно можно было бы и к нарушению отцовской воли отнестись не столь формально, тем более что и дед не был совсем неправ в своих опасениях смешанного брака и притом — в нигилистическое время. Если-бы дед остался жив, то весьма вероятно, он отнесся бы к данному браку не принципиально, а как к частному случаю, примирился бы с ним, оставив в стороне общие свои убеждения, и оценил бы мужество своей дочери; ведь сестры матери и их мужья гораздо более националистические, нежели семья Сапаровых, высоко ценили моего отца и были с ним близки. Следовательно, мать вполне могла бы успокоить себя мыслью, что впоследствии недовольство ее отца рассеялось бы, и что какие-нибудь внутренне не взвешенные слова, сказанные сгоряча разорившимся, больным стариком, уязвленным перед смертью с самых разных сторон сразу, несправедливо и жестоко учитывать по настоящему. Она всю жизнь считала себя как-бы не принадлежащей к своему роду и до смешного скрывала даже самые пустяковые подробности, касающиеся прошлого, да и не сама только никогда не желала сказать об этом предмете ни слова, но и более простым в подобных вещах сестрам своим строго запретила сообщать нам, детям, что-нибудь, а нам — делать попытки расспросов. Но самое замечательное — это что мать и запреты свои запрещала понимать как таковые, так что от нас требовалось просто забвение всех этого рода щекотливых вопросов. А между тем, естественный интерес к своему роду возбуждался еще нечаянно подглядываемыми в маминих шкафах и ящиках вещами из Сапаровского дома, правда, немногими уцелевшими, но зато действительно достойными внимания. Эти вещи тщательно прятались от нас, но по маминей мягкости кто-нибудь из детей, несмотря на ее сопротивление, все-же улучив минуту, когда шкаф или ящик был отперт, влезал туда и вытаскивал что-нибудь интересное. А далее — неизбежны и расспросы. Обычный разговор на эту тему, начиная с детства и до взрослых лет включительно, происходил с матерью неизменно по такой схеме: кто-нибудь из нас, забыв о запретах или делая попытку нащупать, не забудет ли о них на этот раз сама мама: «в котором году, мама, умер твой отец?»

Мама, очень сухо: «не помню».

Кто-нибудь из нас, делая новую попытку в таком-же роде: «А твоя мама когда умерла?».

Мама, как-бы небрежно, но на самом деле с беспокойством: «Ах, оставь, пожалуйста, эти глупости».

Или: «охота тебе заниматься такими пустяками».

Но спрашивающий не унимался, и самые неприятные вопросы — о фамилии.

«Как была фамилия твоей бабушки?».

Мама, очень внушительно и полагая конец разговору: «раз навсегда я тебя прошу не заниматься такими пустяками. Есть же у тебя свое дело!».

Кроме указанной выше душевной раны, мать руководилась в этих запретах, или может быть себя старалась уверить, что руководится опасением, не делаются ли подобные расспросы из тщеславия, и тогда она замечала с подчеркиванием в качестве противоядия:

«Мы — люди самые обыкновенные, самые простые».

Но это говорилось так усиленно, что у нас даже в раннем детстве не было веры в непедагогичность этого заверения.

Мать сознавала себя оторвавшейся от своего рода и даже, правда, по разным мотивам, отдалилась от всех своих родственников кроме сестер; я не берусь судить о достаточности мотивов к этому отдалению, но во всяком случае мать отвергала их, а не они её. Конечно при таких условиях было болезненным преувеличением считать себя без рода, тем более что все сестры ее чрезвычайно уважали, если не обожали её, и были в самых дружеских отношениях с моим отцом. Но рана моей матери расширилась и более. Если бы и в самом деле весь род отверг её, то это еще не означало разрыва с своим народом и тем более — с своею церковью. Может быть ни той, ни другой связи мать не чувствовала крепкой; но во всяком случае в ее нежелании сказать хотя бы слово по-армянски, или говорить и читать об Армении или об армянах, равно как и зайти хотя бы из любопытства или нас завести в армянскую церковь, мне всегда чувствовалось нечто гораздо большее, нежели простая отдаленность и отсутствие интереса. Мать боялась всего, что связано с Арменией, а далее, по иррадиации, это распространялось во-первых на Кавказ вообще, во-вторых, на национальный и государственный вопрос, затем на вопрос религиозный, и в особенности на вопрос родовой. Все эти вопросы, как бы издали они ни затрагивались, очевидно привычными уже ей и может быть мало сознаваемыми путями многочисленных сцеплений неизбежно приводили ее к болезненному ощущению своей раны. В особенности же она боялась подобных возможностей с нашей стороны. Удивительно, как мало значат в таких обстоятельствах побуждения умственные. Ведь мама много и не без толку

читала. Ей не чуждо было естествознание, но преимущественно она читала книги исторические, и притом настолько внимательно, что никогда не оставляла ни одного неизвестного иностранного слова не уясненным себе. Теоретически она лучше нашего понимала значение наследственности, значение рода, важность знакомства с прошлым, небезразличие психологии народов, и даже значительность религии. Но это лишь теоретически и вообще. Я уверен, она могла бы сказать нам много полезного, и сказала бы, если бы была гарантирована отделенность всех общих мыслей от приложения их к нам и к ней. Но всякое проявление ее задерживалось боязнью, как бы от «вообще» мысль не перешла к «в частности», и потому «в частности» она не то что бы не понимала, а — не позволяла себе понимать, как противилась и нашему пониманию.

Мне пришлось здесь сделать длинное отступление; но без него едва ли было бы понятно то особое семейное обстоятельство, которое заставляло родителей наложить табу на религию. Это обстоятельство было раной матери и осторожностью с этой раной — отца.

Если мать оставила для него свой род и свой народ, то и ему, чтобы восстановить равновесие, не оставалось ничего, как сделать то же в отношении своего рода и своего народа. При этом была захвачена и церковь. Церковь армянская явно националистична, и сознается армянами таковой; я не слышал ни об одном случае обращения в армянское исповедание, армянскому духовенству прозелитизм безусловно чужд и, думается, желание присоединиться к армянской церкви со стороны члена иной церкви было бы встречено армянским духовенством как сумасбродство. Церковь русская менее националистична, но и в ней много, даже чересчур много, этнического и национального, возведенного в норму славянофилами. В сознании людей богословски не полированных, каковыми были и отец и мать, эта этничность и националистичность церквей еще заострялась. Если мать чуждалась армянской церкви и не желая утверждать в себе близостью к ней своей народности, а чрез народность — своего рода, то отец был далек от церкви русской не только фактически, но и более сознательно, чтобы не подчеркнуть этим, что он русский. Мать не соприкасалась нас с армянским религиозным бытом по причине понятной; отец же не желал подобного соприкосновения с религиозным бытом православным из предупредительности к матери, и потому наложен был запрет в этом смысле и на тетю Юлю.

Но там, где находился явный общий множитель двух бытов, вроде, например, и у нас явно ритуального пасхального стола, не убиравшегося целую неделю, — там этот быт придерживался крепко. Такова же была елка, и, сколько помнится, убранство зеленью в Троицын День.

Это были добровольные, хотя и не тесные касания к церковности. Пасха, как весенний праздник, особенно понятна на юге, где к этому времени вся природа уже разворачивается вполне. Великий Пост проходил у нас совсем без отклика церковному уставу, и хотя мы не постились, но в это время обед часто бывал из одних овощей. Тут все члены семьи с удовольствием встречали принятую на Кавказе постную и полу-постную еду. Лобия в различных видах — похлебкой с грецкими орехами, отварными зёрнами с уксусом и прованским маслом, поджаренная с яйцами; стручковая лобия, с яйцами и нередко с цыплятами, которые почему-то тоже должны были сойти за пищу постную.

К посту открываются бочки с солеными бутонами джонджами, соответствующими отчасти северной капусте, откупориваются банки с солеными же цветочными стрелками какого-то луковичного растения вроде того, что на севере называется подснежниками, и мы очень любили разрезать нитку, которой аккуратно связывались в солку эти стрелки. Неизменно появлялись всевозможные маринады, употребляемые на Кавказе скорее как еда, нежели как приправа, что возможно без вреда для здоровья вследствие употребления уксуса исключительно винного и притом домашнего. Тарелки с кистями крупного винограда, персиками, грушами, вишнями, особенно любимые нами маринованные «шишки», т. е. мушмала, и другие фрукты в маринованном виде казались нам привлекательными, как нечто не совсем обыкновенное. Но из солений и маринованных более всего я ценил белые грибы, которые на Кавказе подавались в то время как редкость и привозились с севера. При болезненности моей матери этих грибов мне почти не давали, главным образом руководясь распространенною на Кавказе болезнью грибов. Папа мало считался с взглядами рациональной гигиены, и сам всю жизнь, кроме предсмертной болезни, когда он уже не мог выполнять свою волю, не показывался врачам и не лечился, хотя и имел среди них личных друзей; из лекарств единственное исключение он делал лишь для хинина, который глотал прямо в воде почти каждый день. Но папа очень прислушивался к голосу народа, и думал, что в каждой местности народно-гигиенические воззрения, сложившиеся веками, наиболее прием-

лемы, поскольку указывают на приспособления «туземцев» к климату. Самое слово туземцы звучало у папы, или мне казалось звучащим, настолько многозначительно, что я долгое время относил его только к наиболее привлекательным для себя полинезийцам и всяческим островитянам, открытым Куком и его под конец съевшим. Сила детских мысленных обертонов велика так, что и сейчас я почувствовал бы себя нарушителем правильности языка, если бы это зовущее слово на у применил к людям одетым и с белой кожей. Для меня кавказцы были слишком свои, отец же еще был отделен от них чувством экзотики, и потому тоже вероятно говорил это слово с тембром экзотичности и не применил бы его к русским мужикам. Так вот, верю в экзотическую мудрость кавказца побуждался он соблюдать и гигиеническое предание, один из пунктов которого есть запрет всех грибов, кроме шампиньонов и всяческим островитянам, открытым Куком и его под конец съев- после обеда, и в особенности после жирного, рыбы и сырых овощей и фруктов.

Приятным постным блюдом были отваренные в воде белые корневища **свинтри** и другие травы и корни. К постному времени уже появлялась неизменная на Кавказе зелень — редиска, крес- салат, укроп, тархун (эстрагон), и кинда, которой впрочем я не мог видеть за ее запах травяных клопов.

Все это было конечно очень далеко от поста, но слегка оттеняло Пасху, на Кавказе очень празднующуюся. Мы любили эти приготовления, за несколько дней до Пасхи, и волновались ими, чувствуя наступление чего-то **особенного**, тем более, что символика пасхальной еды, хотя и непонимаемая нами, все-же, как-то, смутно улавливалась. Часть приготовлений, повидимому стараниями тети, делалась ею самою с нашей помощью и, как имеющая по чину священности, не передавалась повару. Мы красили яйца, делая их мраморными помощью нащипанной разноцветной корпии, которая почему-то должна была быть непременно шелковой; протирали творог и крутые желтки сквозь сито, удивляясь выходящим с другой стороны червячкам; чистили распаренный в кипятке миндаль, вытаскивали из скорлупы фисташки, толкли пряности, взбивали белок с сахаром, иногда допускались и к более ответственным делам — размешивание творожной массы на пасху, жидкого теста для мазурок и разных мелких печений, даже до торжественного выпуска яиц в тесто. Эти приготовления тетя делала с большой любовью, стараясь возместить ими недостаток прямой церковности, и втягивала в них отчасти маму и прочих.

Некоторые отделы пасхального приготовления — куличи, обязательный печеный барашек, столь же обязательный поросенок и окорок, передавались на кухню, но потом подлежали тщательному осмотру. С окорока, за несколько дней до того погруженного в воду с отрубями и затем запеченного в тесте, обгорелую корку снимали непременно сами. Осматривался поросенок, обложенный зеленью и с пучком петрушки или крес-салата во рту, пасхальный агнец, украшенный наивными манжетами из розовой и белой бумаги. Когда взбивалось что-нибудь вроде гоголь-моголя и т. п., каждый раз указывалась необходимость совершать вращательные движения рукой в одну и ту же сторону и в определенном смысле, для разных веществ по своему, — теперь я уж забыл, когда требуется какое вращение. Наконец все приготовления закончены, и столы заставляются блюдами и тарелками, которые должны стоять здесь несколько дней, и даже целую неделю. Чтобы дать отдых прислуге, первые три дня Пасхи готовка кушанья отменяется, и самое большее — для маленьких разогреют бульон. В доме водворяется любезный нам праздничный беспорядок, когда можно не сидеть за скучным обедом и пощипывать мимоходом целый день что попадется под руку и в любых сочетаниях.

Папа, вообще отстаивавший наше право на беспорядочность, по крайней мере в еде, тут становился нашим безусловным защитником, и мы с удовольствием слышали много раз в день его: «laissez-le», или «laissez-les» к маме или тете, когда начинали расковыривать пасху, ради извлечения изюма или миндаля, вытягивали из целого места кусочек барашка, тщетно пытались разжевать соблазнительную кожу от окорока, или наедались горчицей.

К Пасхе, как и к другим праздникам, и общим, и семейным, мы готовились еще и в других отношениях. Во-первых, — костюмы, шившиеся к праздникам; но они занимали нас сравнительно мало. Я твердо усвоил себе, что не будут же родители держать меня в поношенной одежде и обуви, и потому считал в чистоте и опрятности моей одежды заинтересованными собственно их, а не себя; как «необходимое», и притом не мне, одежде приготовления к празднику я только терпел, тем более что скучал примерками, и, кроме того, вообще очень не любил надевать на себя что-либо новое, включительно до капризов и слез. Но это не значит, будто я не ценил нарядов. Может быть я вообще стал относиться пренебрежительно к своей одежде именно от слишком большой любви к нарядам, с детства получив в этой области болезненную рану

от судьбы, сделавшей меня мальчиком. Больше всего стремился я к красивому, а красивое представлялось мне свойством, достоинством и правом женским. Поэтому, когда окончательно выяснилось мне, что я не могу быть девочкой, а тут же, словно на зло мне стала подрастать Люся, я, так сказать стиснув зубы, отвратился от своей одежды, которая, казалось мне, конечно не может быть красивой: я хотел бы полупрозрачного шелка, красивых складок, кружев, бантов, шляпу с колибри, духов и украшений, притом: чтобы это все было цветов нежных и светлых. Мои ссоры с Люсей коренились именно в чувстве обездоленности природой. Люсины наряды вызывали мой гнев не по зависти, а главным образом потому, что старшие старались меня уверить, будто мальчики не любят «тряпок» и что это — особенность девочек, а я на собственном опыте знал, что люблю платья и понимаю в них толк уже получше девчонки — Люси.

Итак, своим костюмом я не бывал обрадован; напротив, всякий раз он подливал к праздничной радости горького чувства. Совсем иначе относились мы все к подаркам. Праздник без подарков показался бы нам нарушением всякой правды, и мы готовились к этим подаркам задолго, и задолго ими начинали волноваться. Но я имею здесь в виду не только и даже не столько подарки нами получаемые, как сюрпризы, делавшиеся нами родителям и всем старшим. Уже задолго до праздников начинали мы шептаться в укромных уголках, что подарить кому. Старшие, особенно папа, часто поощряли нас к подаркам и выражали непритворное удовольствие, получив что-нибудь, но при этом всегда отмечали необходимость дарить собственные работы. Следовательно, надо было придумать для каждого какую-нибудь безделушку, о которой можно было бы не с полным неправдоподобием говорить как о нужной. И папа всегда представлял наши подарки как именно то, в чем он нуждался в данную минуту. Вдоволь насоветовавшись с Люсей, — в такие времена у нас водворялось полное согласие, — мы затем вели переговоры с каждым из старших относительно всех прочих. Затем, иногда с помощью тети Юли, иногда самостоятельно, мы выполняли свои планы — рисовали, шили, вышивали и вязали, клеили, потом постепенно стали писать. Рисовал я исключительно цветы, часто с натуры. Они казались мне единственным предметом, достойным моего карандаша и моей кисти; изредка сюда присоединялись колибри и другие птицы, но и то не для подарков. Правда, когда я был еще совсем житейски неопытен, меня интересовали, как тема, также невесты, преимущественно за их кисейную

фату и корону. Какое-то внутреннее чувство подсказывало мне о запретности этой темы. Но один вечер я осмелел и, собрав в один фокус все возвышенное, на куске великолепного бристольского картона, изобразил принцессу-невесту, собиравшуюся венчаться — я не знал, что собственно значит это слово, но правильно угадывал, что оно может мотивировать соединение изящнейших сторон жизни. Эта принцесса была под фатою, с локонами, а распущенные волосы ее украшала высокая корона. Это великолепие было противопоставлено огромному конверту в ее руке — письму, запечатанному черною печатью и в траурной рамке: принцесса только что получила известие о смерти жениха её — принца. По лицу принцессы и по платью катились круглые и крупные слезы, побольше грецкого ореха и в роде жемчужин ее ожерелья. Хорошо помню, меня подвигла к такому сюжету вовсе не жалость, а исключительно художественные возможности сопоставить радостное и грустное и заключить в их промежутке некоторую закругленную полноту отдельных тем, и свою принцессу я рассматривал только как нечто красивое.

В самый разгар моей работы в папин кабинет вошла мама и, взглянув на мой рисунок, какими-то интонациями голоса подтвердила мне на всю жизнь уже предчувствующуюся мною решительную неприличность моего замысла. Не только я сам, но и все невесты во мне, принцессы, короны, смерти и прочие соприкосновенные обстоятельства, в несколько секунд сгорели от стыда так безостаточно, что впоследствии я никогда уже не мог найти в себе отклик им и малейшее внутреннее признание. В несколько секунд надорвались мои внутренние отношения к женскому началу, чтобы никогда больше не возобновляться. — Мама ушла, и так и не узнала впоследствии, что она наделала. Правда, подобному событию вероятно все равно предстояло бы совершиться когда-нибудь и без мамы, потому что трудно себе представить описанный случай без внутренней подготовки; может быть известные мои чувства дозрели бы и отвалились сами собой. Но я не могу не верить, что я должен был стать таким, каким стал, и в этом смысле болезненный разлом живого еще был, пожалуй, целесообразен, как сделавший меня более сознательным и более суровым в прохождении предназначенного пути. Мое не просто непризнание психологизмов и духовного мления, а внутренняя враждебность к ним, почти физическое отвращение к нечеткому и кажущемуся лежат на линии именно этого отхода от стихии женской и вероятно были очень надежно закреплены именно в этот памятный вечер.

Но пока что, он не уничтожил сразу женского характера моих подарков: это были сашэ с фиалковым корнем, вышитые и сшитые мною, салфеточки, вытиралки для перьев, коробочки, рамочки, записные книжки и блюдца для булавок, абажуры, — всё раскрашенное, шитое и вышитое, или украшенное засушенными растениями или оклеенное морскими камешками, ветвями кипариса, которые мы золотили и т. п.

Было и занимательно и неловко хранить тайну, о которой, впрочем, все знали. Мы были приучены к полной правдивости, превеличенность которой принесла впоследствии в жизни много неприятностей и много затруднений. Весь строй семейной жизни воспитал в нас на всю жизнь паническое ощущение, что всегда требуется точная и полная правда, и что малейшая недомолвка или уклончивость ничем не отличается от настоящей лжи, а хуже лжи — ничего не придумать. Впрочем самого слова «ложь» старшие до нас не допустили, как предельно осуждающего, и нам известно было лишь название «неправда». «Сказал неправду» — было оскорбительным и тяжким обвинением, которому я во все детство подвергся раза три, но несправедливо. Так как дети, раз только усвоили нечто, то непременно переходят к пределу и применяют воспринятое уже абсолютно, то и мы превзошли в чувстве формальной правдивости требования и намерения старших. Когда прислуге на праздники давалось распоряжение не принимать визитеров, объявляя, что «никого нет дома», мы мучительно страдали за такую, как казалось нам, неправду. И эти внушения не остались без последствий. Развилось болезненное заостренное чувство правдивости, при котором малейшее отступление от полной и точно формулированной истины казалось преступным. Такой рьяный защитник как Кант утверждает, что хотя никто не должен говорить неправды, однако никто не обязан говорить всю известную ему правду. Вот это-то замалчивание, эту уклончивость мы привыкли с детства отождествлять с прямой неправдой, и всегда казалось необходимым сказать все, что думаешь, не из желания говорить, а из мучительной боязни дать повод к ошибке. Никогда не приходила в голову мысль отнестись равнодушно к такой ошибке и снять с себя этот грех мысли, переложив его на собеседника. Поэтому соблюдение тайны было нестерпимо. Не сказать о подарке, казалось мне, почти равносильно неправде, и притом в данном случае — неправде самым дорогим и близким. Мы крепились перед праздниками как могли, но это давалось дорогой ценою.

Были соприкосновения с церковью, которым как мне казалось,

а может быть и было на самом деле, родители мои подчиняются по необходимости и с неохотой. Разумею крестины моих сестер и братьев. Обыкновенно это событие возможно оттягивалось, пока наконец ребенок не выросстал настолько, что уже невозможно было далее оставлять его некрещенным, да и самое крещение делалось вследствие значительных размеров и самостоятельности ребенка, затруднительным. Но год обыкновенно миновал уже прежде чем крещение устраивалось. Впрочем, тут повидимому присоединилось и влияние кавказского быта, ибо на Кавказе детей вообще крестят поздно. Разговоры и переговоры велись, оставаясь мне неизвестными; но как-то я угадывал предстоящее и внутренне сжимался, потому что не то учуввал, не то соображал о необходимости и мне самому принять участие в обряде. У нас так боялись фальшивого положения с этими крестинами, что старались обставить их как можно незаметнее и обойтись домашними средствами, не привлекая к крестинам внимания посторонних. В виду этого меня делали крестным отцом. Может быть я слишком учитываю более внешние мотивы такого выбора; представляется теперь мне возможным и другой, невысказываемый вслух отцом — сблизить таким образом меня с братьями и сестрами. Но это делалось насильственно и вдобавок без разъяснения к чему собственно я призываюсь, и без признания за мною каких-либо прав крестного отца. Поэтому мое участие в крестинах было для меня тяжестью и ничуть не способствовало церковности. Я и без того был болезненно застенчив, и всякое проявление себя пред несколькими людьми вместе мне было непреодолимо трудно. А тут меня заставляют участвовать в событии, которого какую-то многозначительность я непосредственно чувствовал, и которого, как мне чувствовалось, сами родители не то боятся, не то стыдятся. Я же его и боялся, и стыдился, и потому заранее старался принять меры, чтобы как-нибудь ускользнуть от предназначавшихся мне обязанностей. Но никакие отговорки не помогали, и в предчувствии неминуемого я начинал метаться. Помню, когда должны были крестить Лилю, а может быть и Шуру, я, завидя издали церковный причт, без шапки и как был, вбежал к нашим соседям Пассекам. В те времена в нашей семье бегство, без шапки, было событием столь же необычным, как в большинстве семей бегство детей в Америку, и потому, никому в голову не могло придти искать меня у Пассеков. Обыскали у нас весь дом, но меня, конечно, не нашли, и церковный причт сидел в нелепом ожидании. Пассеки встретили меня любезно, но очевидно учли странность моего визита, и вероятно послали прислугу к нам сообщить обо мне. За мной пришли, и на радостях

что я нашелся, даже не рассердились. Но как только меня привели домой, меня вдруг охватило такое смущение и такой страх, что я снова вырвался из рук старших и в какой-то из задних комнат забился под кровать, в пыльный угол. Опять ищут меня, а я скорчился под кроватью и с замиранием слышу, как приближаются ко мне поиски. Наконец меня находят, вытаскивают из-под кровати, приходят в ужас, что теперь сделать с моим грязным костюмом, сердятся, наскоро переодевают и умывают и ведут. В последнем отчаянии я делаюсь равнодушным ко всему, даю делать над собою все что хотят и плохо сознаю самое крещение, пока, наконец, не начинается чай после него. Мне хорошо запомнилась очередная неловкость за этим чаем и каждый раз повторяющееся взаимное смущение и наших, и, как у нас обычно говорилось, «священников», хотя священник собственно был только один: к этим крестинам готовилось обильное угощение, и, вероятно, чтобы сделать его лучше, почти исключительно — мясное, и вообще скромное. И как на грех крестины обычно приходились в постный день, и священникам нечего было есть. Это было тем более нескладно, что обычно ведь у нас часто подавалось растительное и рыба.

В церковном отношении я рос совершенно дичком. Меня никогда не водили в церковь, ни с кем не говорил я на темы религиозные, не знал даже, как крестятся. Между тем я чувствовал, что есть некая область жизни значительная, таинственная, что есть особые действия, охраняющие от страхов. Втайне я влекся к ней, но не знал ее и не смел о ней спрашивать. Украдкой я подглядывал что мог, и тайком старался применять свои наблюдения опять-таки как мог. Под покровом безразличия, мое отношение к религии не было ровным, и менее всего могло быть названо безразличным. Я метался между страстным влечением к религии и приступами борьбы с тем чего я не знал, но реальность чего сама собою давалась мне властно. У меня было ощущение, что этот неведомый мне вопрос необходимо привести в ясность и, или утвердить в себе Бога со всеми вытекающими отсюда последствиями, или... я и сам не знал, что значит это второе **или**, потому что в голову не приходила возможность простого отрицания. Да и как мог я отрицать Того, кто светил моему сознанию светом своей реальности? Единственным выходом было богоборство. Я знал реальность Божию, но знал и любовь и достоинства родителей, а еще более — свое достоинство как человека. И тогда моментами я восставал против Бога, не то что бы отрицал его, а не желал подчиняться. Я хорошо помню пантеистический смысл этих восстаний.

Я часть той тьмы, которая вначале всем была.
Той тьмы, что свет произвела...

Бог — реальность и свет, он велик; но ведь и я тоже реальность, и тоже не тьма — ибо я еще не ощущал жало греха и не знал смерти, а следовательно не сознавал себя тварью. «Я не отрицаю Бога; но я, человек, тоже бог, и хочу быть сам по себе», — таков был смысл моих переживаний. Повторяю, неощущение в себе греховности и, как казалось, внутренняя безупречность всего кругом меня и во мне, некая абсолютность и законченность всего уклада жизни, делали невместимой в сознании мысль о смерти. Окруженный благородством и трепещущий в экстатических внутренних звуках, я был почти в эдеме, и это «почти» закрывало мне глаза на мимолетность и ничтожество всего существования.

Я не мог мыслить о себе как о ничтожной твари и, хоть маленькими, но был богом. Однако, какие-то подземные удары Судьбы и отдаленный гул подземных недр смутно доходили до моего внутреннего слуха, как ни был я упоен миром. Пока и когда это был только безличный и неоформленный гул, мое сердце сжималось ужасом и я притаивался, в ожидании. Я говорил себе и другим с глубокой уверенностью, что папа, мама, и тётя и все наши никогда не умрут, и действительно, мысль о смерти их не могла войти в состав моих прочих мыслей. Я говорил так: а в самой глубине, несмотря на всю силу уверенности, чувствовал — что-то не так, какой-то невыразимый и бессмысленный ужас, такой страшный, что мысль цепенеет от него и никак его не мыслит. Этот ужас подымался из бездн и, неуловимый, казался сильнее всего, сильнее Бога, сильнее даже тётя, папы и мамы. Всё уравнивалось пред лицом этой гибели; однако это было так глубоко под сознанием, что тогда и себе самому я не решился бы сказать этих слов.

Но вот внешний повод выдвигает Бога, как всесильного и безмерно превосходящего человека. Или это неправда, или Он отвечает за все ужасы, о которых я и сказать не смею. Конечно Он: не я же, слабый и не делающий ничего плохого. И тогда я возгораюсь гневом. Это детская и вполне непосредственная постановка всей проблемы теодицеи, до которой я дошел своим — не умом даже, а почти телом. Я восстаю и готов неистовствовать. Невинный на взгляд и полный чарований пантеизм необходимо увлекается к восстанию, к богоборчеству, к титанизму и пресвитерианству, а если разойдется — и к настоящей бесноватости. Слишком трудной внутренней работой досталось мне знание, чтобы уступить его. Да, я знаю, что такое Бетховен. Без этого божественного самосознания нет импульса жизни, и творчество дышит этим кислоро-

дом. Когда он, вопреки всем усилиям, все-таки прорывается в нас, мы чувствуем себя виноватыми и потому смиряемся. Но духовная струя, несшая меня, была совсем иною, и человеческое благородство тут не вторгалось на место этого божественного закона. У родителей был уклон сюда. Я же, никогда не умевший делать что-либо на половину, и по самому имени своему бывший желанием, смывашим на пути своем всякое препятствие, рано понял культ человечности как человеческое самообожествление и рано услышал в Бетховене эту бесконечную родную себе стихию титанизма. Конечно я не сказал бы тогда этих слов, не сказал бы именно так, как сейчас говорю, но, впрочем, и не очень далеко отсюда, ибо образы Прометея и Титанов с детства я чувствовал **своими**. Вот почему имя Бог, когда мне ставили его как внешнюю границу, как умаление моей человечности, способно было взорвать меня, тогда взмывалась вся гордость — человечностью, семьей, самим собою, и я, столь далекий от богословия, и столь как будто безразличный к нему, вдруг оказывался прекрасно в нем осведомленный, ибо совсем не растерянно наносил детские удары в места наиболее трудные для богословия. Один из таких споров с детьми артистов Лилеевых, живших в одном с нами дворе, мальчиком Сашей и девочкой Женей, отстаивавших предо мною всемогущество и благость Божию, закончился с моей стороны взрывом гневных богохульств. Конечно, я не мог сказать каких-либо особенно скверных слов, но — исключительно по неведению; воля же моя должна дойти до конца, и истощив с многократным повторением весь свой небогатый словарь ругательств в отношении Бога, я чувствовал, как задыхаюсь от неспособности сказать какое-то решающее слово. Я начал было спорить с детьми и вознегодовал, что они ссылаются на своих родителей, тогда как этого же самого мои родители мне не говорили. Мне стало вдруг ясно, что речь идет о чем-то существенно важном и что, следовательно, или всё это надо думать не так, как говорят Лилеевы, или мои родители сами находятся в глубоком заблуждении, раз не говорят мне наиболее важного. И вдруг предо мною встала необходимость выбора: или Бог, а с ним ничтожные и пошловатые Лилеевы, с семьей-богемой мелких опереточных артистов, или благородство человека в лице моих родителей и следовательно правота их убеждений (— ибо что это было-бы за благородство при грубом неведении важнейшего —), т. е. самостоятельность в отношении Бога и нежелание считаться с ним. Мне сразу стала ясна — я хорошо помню этот момент — внутренняя несоединимость того и другого, Бога и человека, и представилось необходимым излить гнев либо в ту, либо в другую сторону. Наконец мои богохульства показались детям страшными,

они закричали, что не хотят слушать, и, зажав уши, побежали жаловаться своей матери.

Прошло немного времени, и актриса Лилеева явилась к нам с жалобой на меня. Я не знаю, с кем говорила она, но наши не сочли возможным трогать меня и с этими, для них не менее щекотливыми, вопросами тут-же. Каким-то краем не то уха, не то глаза я учуял, что старшие об этом случае совещались между собою, и я уже ждал для себя неприятностей, но мне никто не сказал ни слова. Прошло несколько дней. Я считал этот случай исчерпанным, как однажды вечером, среди самого интересного разговора о растениях, в связи с увлекавшей меня тогда книгой Висковатова «Из жизни растений», которую читала мне тётя Юля, она вдруг переменила тон и сказала, что по поручению папы она будет говорить относительно жалобы на меня Лилеевых.

— «Ты говорил про Бога нехорошие слова, и ими смутил Сашу и Женю. Папа и я думаем, что каждый может верить как он хочет. И ты можешь думать о Боге что хочешь, это твое дело. Но нужно уважать верования других людей, и нехорошо смущать других. Мы надеемся, что ты сделал это по незнанию и что больше этого никогда не будет».

Этого, действительно, никогда и не было после, но не потому только, что запретила тётя, а по более внутреннему побуждению: сильные внутренние движения я никогда не был способен повторять. Повторяемость и множественность, не знаю в силу какого из потрясений раннейшего детства, были мне нестерпимы, как дурная бесконечность, предмет томительной скуки, отвращения и ужаса. С детства привык я к мысли, сформулированной впоследствии: нет такой хорошей вещи, что бы в соединении со словом «**много**» она не делалась невыносимой. Внутренняя определенность явления не допускала в моей мысли его повторяемости и его умножения. Изобилие было мне всегда мучительно: пусть будет роскошь, но замкнутая в себе, не допускающая «еще» и «еще», единственная в своем роде. Постепенно возникавшая во мне острая ненависть к эволюционизму, к беспредельному расширению астрономических и геологических времен, к этому вторжению в мир — дурной бесконечности, коренилось именно в детской моей боязни к слову «много». Поднявшись до внутреннего движения, выраженного достаточно, я больше не хотел к этому возвращаться, отчасти и не мог: если нечто действительно сказано, то оно не может быть повторяемо, оно родилось от меня и уже теперь не во мне. Я могу сказать еще что-нибудь другое, может быть еще выразительнее, но уже не скажу того.

Так и в описанном выше случае я уже излил свой аффект гнева, и больше мне нечего было сказать по этому поводу. Но это еще не означало моего примирения со всеми нормами. Чрезвычайно послушный ко всяким запретам и требованиям, когда они исходили от тех, кто был мною уже признан, я готов был броситься на всякую новую норму, неожиданно ставшую предо мною, и испытать её крепость на опыте. И тут чрезмерное замалчивание родителями многих вопросов вместо того, чтобы уничтожить во мне в корне самые возможности некоторых мыслей, подготовляли наоборот почву поступков совершенно непредвиденных.

В нашем дворе, во флигеле, кроме Лилеевых — двух братьев женатых на двух родных сестрах, жила еще семья евреев, фамилии которых я не помню. Но имя одного из них крепко запало мне в слух. Это — ядовитые звуки **Янкель**. Это были контрабандисты и фальшивомонетки. Когда они внезапно бежали, очевидно накрытые полицией, бросив большую часть своего имущества, мы с интересом находили в их квартире паяльные трубки и лампы, гальванические элементы, типографскую кассу, ящичек с резиновыми еврейскими литерами и какими-то таинственными знаками для набора и печатания, всевозможные химические и слесарные инструменты, много химических веществ и другие странные предметы, назначения которых нам не могли разъяснить и старшие. Это была настоящая кухня ведьмы, а тогда была воспринята мною совсем по Гофмановски.

Но не об этом собственно хотел я говорить. До своего бегства семья эта держалась очень замкнуто, днем они сидели запершись со спущенными шторами и вероятно спали, а работали ночами. Мы почти никогда не видели живших там мужчин, и лишь изредка проходила двором и к воротам, мимо нашего балкона, женщина лет тридцати из таинственной квартиры, одетая криливо ярко, но в шляпе корзиной, явно преднамеренно скрывавшей всё лицо. Она уходила за провизией и, вскоре вернувшись, снова запиралась в своем флигеле. Я не помню в точности, был ли особенно затенён деревьями угол двора, где помещался этот флигель, но моя память представляет всю заднюю часть двора и в особенности этот угол, окутанный полумраком, как в поздний вечер. Трудно себе представить такую сумрачность при батумском солнце, и моя память очевидно внесла в зрительные впечатления духовную окраску нашего двора, что-то глубокое, загадочное, полное неизвестностей и страхов, уходящее в полную тьму. В этой-то тьме и гнездились наши контрабандисты. Их загадочность конечно влекла меня к ним, хотя я и боялся подходить к их флигелю. Этот интерес однажды весьма заострился от сообщения Сашей Лиле-

евым, что эти люди — «жиды». Такого слова в нашем доме я конечно никогда не слышал, и в звуках его мне сразу почуялось нечто жуткое и насыщенное, а потому — знаменательное. Мне захотелось сказать такое слово, но Саша предупредил меня, ссылаясь на своего отца, что говорить так не следует, потому что жиды очень не любят этого слова и сильно рассердятся на него. Я почувствовал, по глухой густоте звука, привлечшего меня, какую-то правду в словах Саши, но счел нужным усомниться в точности этого сведения как исходящего не от моих родителей; Саша настаивал, даже испуганно. Тогда я сказал, что сейчас испытаю, правду ли он говорит, хотя и сам боялся и внутри себя уже поверил ему. Как раз на случай увидели мы во дворе женщину из таинственного флигеля, собравшуюся на рынок. Устроив засаду за перилами, я с замиранием стал ждать ее прихода, и когда она поравнялась с нами, выскочил из-за засады и отчетливо сказал: «Саша, смотри, вон идет жидовка», а затем снова спрятался в засаду. Эффект моих слов превзошел все ожидания. Сперва эта женщина растерялась и, остановившись, молчала в ярости, а потом крикнула: — «А ты — скверный мальчишка!», — и быстрыми шагами прошла вперед. Её замечание было для меня, при чрезмерной сдержанности в словах всего нашего дома, ошеломляющим и неслыханным оскорблением. Но я почувствовал в ее ярости подтверждение, что слово «жидовка» действительно особое слово, полное магической силы и жути. Это ощущение так внедрилось в меня с этого случая, что еще до окончания университета я совершенно не мог переносить его, но не за смысл, а в чисто звуковом отношении, и даже до сих пор оно не проходит мимо моего слуха гладко, как другие слова, хотя бы даже ругательные. Как откликнулся мой детский опыт на гоголевское оплотнение всякого чернокнижества, некромантии и какой-то густой, черной жидкости, которую пьет колдун, — оплотнение около слова **жид**. Ну, конечно, не еврей! В этот звук не воплотить черноты мрака, колдовства и ужасов.

Сплетение уголовных дел, тайны, не то колдовства, не то химии, странно-крикливых одежд, густого гортанного выговора наших контрабандистов в моем воображении очень легко слилось с Гоголевскими колдунами, и всё это естественно уперлось в звуки слова «жиды».

Так я колебался между влечением к каким-то нормам, мне неведомым, и бунтом против них. Я старался доходить своим умом до церковности, и вместе с тем смертельно боялся, как бы не было сказано вслух что-нибудь церковное. Я не то видел — не то слы-

шал, что люди как-то крестятся; но я не успевал подметить, как именно это делается, не смел «бесстыдно» вглядываться, а тем более спросить, крестятся ли одним пальцем, двумя, тремя или пятью, собранными в одну точку. Я колебался между двумя и пятью, в первом случае — большим и указательным, я тайком крестился, натянув на голову одеяло и в почти темной спальне. На даче в Боржоме я пользовался относительной свободой и проходил небольшую улицу — путь к Андросовым — один. По дороге я крестился изобретенным мною способом и снимал шляпу: я боялся и собак, и неведомых ужасов. Я взывал к Богу, которого не знал, и мое сердце было полно страха, тоски и надежды на чудесную помощь. Уж в чем другом, в чудесной помощи я никогда не сомневался. И в душе я тогда уже твердо верил, что Бог слышит меня и не оставит меня. Но от религии меня так отстраняли, что даже когда представлялась возможность узнать нечто, я пугался и в замешательстве отказывался. Однажды я копался в комоде у тети Юли и, вытаскивая маленькие ящички с пуговицами и мелкими вещами, наткнулся на небольшую черную книжку с изображением креста. Вид ее смутил и испугал меня. Тётя объяснила, что это — святая книга, Евангелие, и предложила мне дать почитать его, (читать я научился в таком раннем детстве и так незаметно, что не помню, как это случилось). Мне слишком хотелось заглянуть в нее, чтобы я мог согласиться на предложение тети, я наотрез отказался. Тётя вышла тут за чем-то из комнаты, а я улучил минуту и стал читать. Это было несколько минут. Родословие Христа в Евангелии от Матфея показалось мне таинственным и вполне отвечающим черному переплету маленькой книжки, и мне захотелось знакомиться с нею далее. Но тут вернулась тетя Юля. Желая взять свой отказ обратно, но не сознавая в своем интересе, я с полусмехом сказал ей про родословие, нарочно легкомысленным тоном, хотя был на самом деле испуган и мне было не до смеха. Это должно было означать, что я уже приступил к чтению и могу продолжать его. Но тете мой тон показался неподходящим, а может быть она вспомнила, что поступила самочинно, не сказав ничего родителям. Книга была у меня взята и заперта, а тетя добавила, что мне наверно еще рано читать Евангелие. И после этого у нас с ней о Евангелии никогда не было речи.

(продолжение следует)

В. ВЕЙДЛЕ

ПОСЛЕ "ДВЕНАДЦАТИ"

Приношение кресту на могиле Александра Блока

— О чем хлопочешь? Нет никакого креста. Забыл что ли? СССР здесь у нас, — не Россия.

— Знаю: нет креста; но и знаю, что был. Сам его видел. Сам Блока на Смоленское кладбище провожал. Открытый гроб его нес на плечах попеременно со многими другими. Не в яму был он зарыт. После церковного отпеванья погребен в освященной земле. Не в безымянной стране родился он и прожил жизнь. О том и хлопочу, для того и пишу, чтобы вновь воздвигнут был крест на могиле его, когда Россия станет вновь Россией.

«Положили его, — вспоминает Надежда Павлович, — под старым кленом и поставили белый высокий крест.» За год до смерти, Блок ей говорил, что желает лишь «простой могилы и чтоб на нее не клали никакого камня, а только поставили бы крест.» Она пишет: «Теперь Блока перенесли на Волково, для 'почетного погребенья', положили в чужой склеп, выселив прежних 'жильцов', поставили тяжелый гранитный памятник, с плохим барельефом поэта, посадили в аккуратной каменной оградке приличные мелкие кладбищенские цветы, сделали все, что Блок не любил, чего не хотел.» И прибавляет: «Мне мучительно тяжело бывать на этой холодной, парадной могиле.»

Те, кому не тяжело, те, кому о гранитной казенщине думать не гадко, те Блока не знают: он для них заслонен плохим барельефом, вылепленным из лицемерных, тупых и лживых слов, при помощи не менее лживых умолчаний, — «немногочисленных купюр», как их называют распоряжающиеся блоковским наследием. Были, кроме того, да и ныне существуют другие, с картонным изваянием этим вовсе не знакомые, по мнению которых Блок такого без-креста-мещанского монумента именно и заслужил: кто же его и поставил, как не те, чей приход к власти он столь опрометчиво приветствовал? Логика и впрямь как будто на их стороне. Только логика эта мелкорассудительная, куцая. Именно это и постараюсь показать; а пока что сошлюсь на поэта, то-

гда, в 21-ом году, вовсе Блоку не близкого, хоть и предстояло Ахматовой позже найти интонации гнева и скорби, родственные самым скорбным и гневным прежним блоковским стихам.

Помню ее на похоронах. «Принесли мы Смоленской Заступнице, / Принесли Пресвятой Богородице / На руках во гробе серебряном / Наше солнце, в муке погасшее — / Александра, лебедя чистого.» Этими строками она все сказала. Все, чего никто другой не сумел сказать, но что многие из нас, вместе с ней хоронивших Блока, молча понимали. Ее «Октябрь» не привел в восторг. Белый в восемнадцатом году говорил Надежде Павлович о Блоке: «Он рад большевикам. Он думает, что другого пути для России нет». Об Ахматовой этого сказать не мог никто. Тогда же Белый рассказывал своей собеседнице о том, как «многие перестали подавать Блоку руку после выхода 'Двенадцати'». Ахматова, 13 мая того года, отказалась участвовать в вечере, на котором выступал Блок и читала «Двенадцать» его жена. Блок дважды это отметил не без горечи — и, кажется, удивленья — в своей записной книжке. Но с тех пор три с лишним года миновали, не легкие, все это знали, для него. И раз навсегда за всех нас, провожавших его к могиле, сказано было стихами Ахматовой, что чиста была душа новопреставленного Александра, — не безгрешна, но от всякой низости и лжи чиста; что и мы чистосердечно, без тайного укора, принесли его прах 'Смоленской Заступнице' и — это было всего нужней, всего верней — что в искупительной муке солнце наше погасло, потому что Ахматова, конечно, не об одних муках болезни его думала. В этих других мыслях солнцем его и назвала.

Справедливо назвала. Больше у нас в его веке такого поэта не было: такого крылатого, такого слившегося со своим даром и беззащитного в этом слиянии, поэта и чья жизнь и смерть столько бы значили для его страны; точнее говоря, для всех тех, для кого сама эта страна духовно что-нибудь значит. Полвека прошло. Но все, что я о нем скажу, в конечном счете лишь пояснением будет к трем ахматовским строчкам.

1. Эх, эх, без креста!

«Двенадцать» прочел я впервые в 1918 году, вместе со «Скифами» (и с предисловием Иванова-Разумника), вскоре после выхода в свет этой брошюры, которая долго у меня хранилась. Мне было двадцать три года; еще шесть лет оставалось мне жить в

России. Пронизанную лиризмом реторику «Скифов» я оценил, но сочувствия она у меня не вызвала. Поэма покорила меня в гораздо большей мере, и возмущения, вызванного ею у многих, я ни тогда, ни позже не испытывал. Лозунг французского монархиста Шарля Морраса (и, конечно, Ленина, Гитлера) *politique d'abord* — сперва политика, политика прежде всего — ничего, кроме презрения, мне уже и тогда не внушал. Я способен был бы и смолodu понять, что, например, Шолохов и генерал Краснов — одинаково третьесортные писатели, хоть и одинаково не лишены (той же самой, примерно) дешевенькой сноровки. «Октябрю» я нисколько не рукоплескал; но предавать анафеме стихи за то, что их автор не разделял моего мнения, и в голову мне не приходило. Конечно, «буржуй», как и любой ярлык этого рода, «поп», например, или «революционный» (с плюсовым этаким восторгом наклеенный) для мышленья — мусор; но ведь в данном случае было предо мной не рассуждение, а изображение. Не то, чтобы поэзия, или искусство вообще, совместимы были с любой мерзостью и неправдой; этого, в отличие от многих современников моих на Западе, я и тогда не думал, и теперь не думаю; думаю, напротив, что на вершинах искусства никакой мерзости и неправды нет, и что пониже, когда они есть, они всегда вредят искусству. Судить, однако, о наличии мерзости и неправды, старался я и в былые годы не чересчур сплеча; ошибки объявлять грехами избегал; а в «Двенадцати» и теперь никаких грехов не нахожу: погрешность нахожу, ошибку, о которой будет еще речь; но и она, на мой взгляд, хоть финалу произведения и вредит, поэзии его, и даже поэзии этого финала, не уничтожает.

Гуляет ветер, порхает снег,
Идут двенадцать человек.
Винтовок черные ремни,
Кругом — огни, огни, огни...
В зубах — сигарка, примят картуз,
На спину б надо бубновый туз!
Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Тра-та-та!

Когда я это читаю, вспоминается мне порой, в силу ассоциации не по смежности, а по контрасту (столь же ведь осмысленной, как и по сходству):

Мальчики да девочки
 Свечечки да вербочки
 Понесли домой.
 Огонечки теплятся,
 Прохожие крестятся,
 И пахнет весной.
 Ветерок удаленький,
 Дождик, дождик маленький,
 Не задуй огня!
 В Воскресенье Вербное
 Завтра встану первая
 Для святого дня.

Разве не одинаково хорошие те и другие стихи, не одинаково достойны причисления к лучшему, что написано было Блоком? Тот, кто станет это отрицать, оттого ли, что предпочитает «Эх, эх, без креста» Вербной Субботе, или наоборот, тем самым покажет, что судить о поэзии, об искусстве он отказывается или что судить о них неспособен. Никакого эстетизма или формализма и в этом моем утверждении нет: сравниваемые стихи не только «звучат» одинаково хорошо (со включением в «звучание» непосредственно прилегающего к нему смысла), но и одинаково верны, правдивы, адекватны изображаемому, человечны, — все это критерии уже не чисто эстетические. Если же кто скажет, что в «Вербочках» больше непосредственного лиризма, чем в отрывке из «Двенадцати», то и с этим я не соглашусь. Тут и там лиризм опосредствован, перенесен в другие «я», но этим ни тут, ни там не ослаблен. «В зубах — сигарка, примят картуз», это, разумеется, не автопортрет, и себе на спину Блок бубнового туза не нашивает; но ведь и не он та девочка, что говорит: «В Воскресенье Вербное / Завтра встану первая / Для святого дня». Он — поэт насквозь лирический, драмы его и поэмы только лиризмом и живут; чаще всего он себя и действительно отождествляет со своим лирическим «я», с тем образом поэта, который он создает, который возникает из чтения его стихов. Чаще всего, но не всегда, и было бы весьма опрелемчиво считать этого рода отождествление неотъемлемым признаком всякого лиризма. Что же до другого, или другой степени отождествления, то оно с равным совершенством осуществлено через подставных лиц, как с вербочкой в руках, так и с сигаркою в зубах.

Предпасхальные те стихи — как любили их у нас! — были бы менее прелестны, если бы не выкинул из них поэт самой их

серединки, между «пахнет весной» и удаленьким ветерком. В рукописи читаем:

И на сонной улице
 За углом целуются
 Невеста и жених.
 Огонек, не гасни-ка,
 Быть бы нам у праздника,
 Не взглянуть на них!

Блок эти строчки вычеркнул и приписал пояснение: «не синодально», снабдив наречие это иронически-официальной ижицей, очевидно в знак того, что вычеркивает он их, уступая предполагаемым требованиям Святейшего Синода, а не по собственному почину. Стихи были написаны по просьбе секретаря Синода, В. А. Тернавцева, человека тогдашними друзьями Блока высоко ценимого, для издававшегося под его руководством детского букваря. Однако в послеоктябрьском издании своего второго тома Блок первоначального текста не восстановил: убедился должно быть, что выкинутые строчки стихотворению не нужны, да и хуже прочих. Вряд ли кто нынче стал бы это оспаривать. Мне, сознаюсь, случалось даже и пожалеть, что не в синодальной типографии печатались «Двенадцать». Будь это так, иронизировал я, поэт, пожалуй, и оттуда изъяз бы, в самом конце, кое-что, очень немного, но все ж недодуманное и досадное.

Не Христа; не мысль о Христе. Почему бы в самом деле, через три месяца всего после «Октября», когда «говорили об уничтожении дипломатии, о новой юстиции, о прекращении войны, тогда уже четырехлетней (недаром эти слова так тщательно вырезают из печатного текста «Записки о 'Двенадцати'»), почему бы человеку, поверившему этим разговорам и заявившему в тогда же написанной статье, что «'Мир и братство народов' — вот знак, под которым проходит русская революция. Вот о чем ревет ее поток. Вот музыка, которую имеющий уши должен слышать», почему бы ему и не вообразить Христа где-то вдалеке, впереди, если и ведущего, быть может, то неизвестно для них, вот этих самых «в зубах сигарка, примят картуз», этих «Уж я ножичком / Полосну, полосну!» (слова, с которых, по свидетельству поэта, началась его поэма)? Они ведь Его не видят.

(« — Кто там машет красным флагом? / Приглядись-ка, эка тьма»); они не знают, куда Он их ведет или мог бы повести.

Для готовившего свои иллюстрации Анненкова Блок записал: «Самое конкретное, что могу сказать о Христе: белое пятно впе-

реди, белое, как снег, и оно маячит впереди, полумерещится — неотвязно; и там же бьется красный флаг, тоже маячит в темноте. Все это досадует, влечет, дразнит, уводит вперед за пятном, которое убегает»; неизвестно от кого убегает, от двенадцати или от Блока; дразнит и влечет, во всяком случае, его; досаду вызывает у него. По поводу неудачного рисунка Анненкова (Анненков сам признавал его неудачным) Блок ему пишет: «Он совсем не такой: маленький, согнулся, как пес сзади, аккуратно несет флаг и уходит. 'Христос с флагом' — это ведь — 'и так и не так'. Знаете ли Вы (у меня — через всю жизнь), что когда флаг бьется под ветром (за дождем или за снегом и **главное** за ночной темнотой), **под ним** мыслится кто-то огромный, как-то к нему относящийся (не держит, не несет, а как — не умею сказать). Вообще это самое трудное, можно только найти, но сказать я не умею, как, может быть, хуже всего сумел сказать и в 'Двенадцати' (по существу, однако, не отказываюсь, несмотря на все критики)».

Прямодушием и беспристрастием поразительно это «не сумел сказать». Вслед за самим поэтом, нужно и нам отличать то, что он принял как увиденное, от того, что он высказал об увиденном. Каково было увиденное, ясней становится, если сопоставить только что приведенные строки с рассказом, тогда же записанным Алянским, и с разговором (в начале зимы 20-го года), переданным Надеждой Павлович.

Алянского Блок спросил, случалось ли ему «ходить по улицам города темной ночью, в снежную метель или в дождь, когда ветер рвет и треплет все вокруг? Когда снежные хлопья слепят глаза?» И стал описывать такую метель: «Вьюга кружится, образуя белую пелену, сквозь которую все окружающее теряет свои очертания и как бы расплывается. Вдруг в ближайшем переулке мелькает светлое или освещенное пятно. Оно маячит и неудержимо тянет к себе. Быть может, это большой пляшущий флаг или сорванный ветром плакат? Светлое пятно быстро растет, становится огромным и вдруг приобретает неопределенную форму, превращается в силуэт чего-то идущего или плывущего в воздухе. Прикованный и замороженный, тянешься за этим чудесным пятном, и нет сил оторваться от него. (...) Вот в одну такую на редкость вьюжную, зимнюю ночь мне и привиделось светлое пятно; оно росло, становилось огромным. Оно волновало и влекло. За этим огромным мне мыслились Двенадцать и Христос.»

Павлович, со своей стороны, пишет: «Мы возвращались из Союза поэтов, с Литейного, из дома Мурузи, довольно поздно.

Когда мы поднялись на гребень горбатого моста через Фонтанку, около цирка, Блок неожиданно остановил меня. Кружила метель. Фонарь тускло поблескивал сквозь столбы снега. Не было ни души. Только ветер, снег, фонарь... Всю дорогу мы говорили совсем о другом. Вдруг Блок сказал: «Так было, когда я писал 'Двенадцать'».

«Смотрю! Христос! Я не поверил — не может быть Христос! Косой снег, такой же, как сейчас (он показал на вздрагивающий от ветра фонарь, на полосы снега, света и тени).

«Он идет. Я всматриваюсь — нет, Христос! К сожалению, это был Христос — и я должен был написать.»

Это полностью согласуется с другими давно известными и учтенными высказываниями Блока. В июне 1919 года, в ответ на замечание Чуковского о том, что конец 'Двенадцати' «кажется ему искусственно приклеенным, что внезапное появление Христа есть чисто-литературный эффект» (мысль из числа тех, о которых говорится «попал пальцем в небо»), Блок сказал: «Мне тоже не нравится конец 'Двенадцати'. Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И я тогда же записал у себя: «к сожалению, Христос.» В самом деле, 28 января «Двенадцать» были вчерне закончены, а 18 февраля он отметил в записной книжке: «Что Христос идет перед ними — несомненно. Дело не в том 'достойны ли они его', а страшно то, что опять Он с ними, и другого пока нет; а надо Другого —?» Через два дня ту же «страшную мысль наших дней» записал в дневник, уже без вопросительного знака; страшно, «что именно Он идет с ними, а надо, чтобы шел Другой»; оставив снова неясным, к чему относится страх — к первой половине мысли или ко второй, или ко всей мысли в целом. Тут же 10 марта записано, что: «большевики правы, опасаясь 'Двенадцати', но что русскому духовенству следовало бы признать истину, «простую для людей, читавших Евангелие и думавших о нем»: «Христос с красногвардейцами». Затем, по поводу разговора жены с Каменевой, партийной новой барыней, руководившей Театральным отделом Наркомпроса и оставшейся недовольной тем, что в «Двенадцати» «восхвален Христос», отмечено: «Разве я 'восхвалял'? Я только констатировал факт: если вглядеться в столбы метели на **этом пути**, то увидишь 'Иисуса Христа'».

Ясно, таким образом, что имя Христово произнесено было Блоком неожиданно для него самого, что мысль о Христе, в метели,

вьюге и «трах-тах-тах!» слышана им была внутри того шума («от падения старого мира»), той музыки, которую он в те дни слышал, а затем перестал — навсегда перестал — слышать. Он и увидел эту мысль: «привиделся» ему Христос. Еще и над мертвой Катькой он Его увидел. В том же письме Анненкову писал, по поводу обложки: «Если бы из левого верхнего угла 'убийства Катьки' дохнуло густым снегом и сквозь него — Христом, — это была бы **исчерпывающая обложка**». Так что помысла о Христе из «Двенадцати» выключить нельзя. Вяжется с этим — хоть и не в мнениях тут дело — также и мнение Блока насчет «простой истины», которую духовенству следовало бы знать. А если обо всех видениях (привидениях?) забыть и какие ни на есть умствования отодвинуть в сторону, незывлемым все же останется факт, что никакой другой санкции — лучшей или попросту более подходящей для того, чему он в те дни поверил, чему душу отдал, Блок не нашел. Никем и ничем Христа заменить не сумел. Если «Другой» (как Мочульский предположил) и в самом деле Антихрист, то такому покровительству препоручить Петьку, Катьку и все революционное «тра-та-та!» Блок, хоть быть может и мелькнула у него такая мысль, как никак не захотел.

2. Женственный призрак

В «музыке революции» расслышал другую — едва слышную — музыку. Под бьющимся флагом увидел высокую тень, сквозь вьюгу и снежные хлопья — белое пятно, да только об этом «хуже всего сумел сказать» в своей поэме. Образ Христа «не получился», как пишет Алянский о рисунке Анненкова. Он прибавляет: «Блок считал, что это произошло по вине автора». Прав он был и тут: именно образ «не получился» и у него.

...Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Иисус Христос.

По звучанию и верхнему слою смысловой ткани, безупречны эти стихи. Серединные строки и вообще никаких возражений не вызывают. «Нежной поступью надвьюжной / Снежной россыпью жемчужной», это и воображено и на голос положено как нельзя лучше. «И за вьюгой невидим / И от пули невредим» по высказанной мысли хорошо: не видят двенадцать разбойников Того, Кто, быть может, и не ведет их, а лишь «маячит» впереди и уходит вдаль. «Кто там машет красным флагом?» «Трах-тах-тах!» Вполне способны они и пулей в него пальнуть. В рукописи, как известно, у начала десятой есть запись Блока: «И был с разбойником. Жило двенадцать разбойников» — смесь евангельского «будеши со Мною» с неточной цитатой из Некрасова — свидетельствующая о том, что именно разбойниками мыслил он своих красногвардейцев. Христа, однако, их атаманом он не мыслил. «А в глаза им — красным флагом» написал он сперва (как бы из-за угла, врасплох); потом исправил: «Впереди — с кровавым флагом»; словесно-звуковую сторону этим улучшил, но не образную. Уже и красный флаг вряд ли был нужен: обойдется и без флагов земной рай, благополучно распрощавшийся с войной, дипломатией, а впридачу и юриспруденцией, и где разбойник пребудет навеки со Христом. Но «кровавый» флаг еще грубей противоречит «нежной поступи надвьюжной», сочетаться вовсе уж не хочет с «белым венчиком из роз». Худшее, однако, не он; худшее именно эта предпоследняя строчка поэмы, превосходная по звуку, по на ходу улавливаемой окраске слов, но глубоко неприемлемая по рисунку его образу.

Худосочен образ этот и вял — точно дали нам отведасть жидкого чаю с молоком и тремя кусками сахара. Из обмирщенно-евангелических иллюстраций немецкой какой-нибудь «Gartenlaube» почерпнут. Недостойн Блока и его поэмы, чей конец больше им испорчен, чем были бы испорчены «Вербочки», если б вовремя не вычеркнул он тех шести «несинодальных» строчек. Издавна я это думал, но лишь недавно, перечитывая записную его книжку 18-го года, обнаружил, что почувствовано это было — отнюдь, правда, не первым встречным — сразу, через неделю всего после опубликования «Двенадцати». В краткой записи, от 25-го февраля, разговора с Петровым-Водкиным приведены (не замечал я их прежде!) его слова: «'В белом венчике из роз' — режет ухо». Оказано это немножко мимо: не ухо слова эту режут, а образ, вызываемый ими, колет глаз. Но что именно глаз художника он уколол, и художника, который два года спустя, в голодную петербургскую

зиму, высшей точки творчества своего достигнет неизвестными нынешней России рисунками к Евангелию от Иоанна, это, во всяком случае, знаменательно. Петров-Водкин взялся было обложку «Двенадцати» нарисовать (в связи с этим Блок его и посетил), но тут же, очевидно, и передумал. Порекомендовал, как отмечено в записной книжке, обратиться к Замирайло, который позже (к третьему изданию) обложку и в самом деле нарисовал.

Христа на ней нет. Анненков с этой задачей не справился. Гончарова в двадцатом году скалькировала, наперекор тексту, икону Спаса «Ярое Око» (о которой Блок, надо думать, и понятия не имел). Альтман, сорок лет спустя, очень малоталантливо изобразил рослого детину в солдатской шинели, но с лубочно-иконописным ликом и в венчике «смахивающем», как выразился один новейший автор, «на скрученную кандалную цепь», — что пожалуй и впрямь, в данном случае, уместнее белых роз, но никак не предуказано у Блока. А как же он сам видение свое оценил? Цитату из дневника, от 10 марта, я в предыдущей главе до конца не довел. Там было сказано: «Если взглянуть в столбы метели на **этом пути**, то увидишь 'Иисуса Христа'. Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный образ». Женственный? Где он это в Евангелии или церковном предании нашел? На какой иконе или хотя бы религиозной картине старшего прошлого века увидел? Ненавистно ему им же вообразенное. Но как же случилось, что он именно это вообразил?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно не только различать осмысленное звучание и образ, но и в самом образе зрительную его сторону отличать от смысловой. В отношении зрительном, предначертан был этот образ отчасти уже стихотворением 1905 года:

Вот он Христос — в цепях и розах
За решеткой моей тюрьмы.
Вот Агнец Кроткий в белых ризах
Пришел и смотрит в окно тюрьмы.
В простом окладе синего неба
Его икона смотрит в окно.
Убогий художник создал небо.
Но лик и синее небо — одно.

Далее идут три строфы, к которым относится больше еще, чем к двум первым, примечание Блока (во втором томе): «Стихотворение навеяно теми чертами русского пейзажа, которые нашли себе

лучшее выражение у Нестерова». Но и приведенные только что строки, несмотря на литургического стиля вокабулы («Агнец Кроткий»), на «икону» и «ризы», не икону нам все-таки являют, а ту же нестеровскую, чахоточную немного умиленность, Налицо тут уже и розы и белизна, но венчика — заменяющего крещатый нимб — тут еще нет. И Gartenlaube нет. Блок еще не читал Ренана.

Начал он читать «Жизнь Иисуса» накануне того, как принялся писать «Двенадцать». Правда, тогда же и Евангелие, попросив о нем, от матери получил, но Ренан оказался сильнее. Венчика он у него, разумеется, не нашел, но именно благодаря ему таким не-народным и не-церковным оказался — даже ведь и не просто «Иисус», а чуть ли не раскольничий или бурлацкий «Иисус Христос». Однако не все вычитанное у Ренана уместилось в поэму; и почему, собственно, Блок называет «женственным» призраком привидевшегося ему Христа, поэма полностью не объясняет; чтобы это понять, надо обратиться к его дневнику тех дней. Не дочитав еще книги, набросал он (7 января) занесенный в Дневник план «пьесы об Иисусе Христе» (как в примечании к дневнику говорится); на следующий день, по всей видимости, начал «Двенадцать»; а еще через три дня записал: «В чем тайна Ренана? Почему не 'плоски' его 'плоскости'. — В искусстве: в языке и музыке».

Читаю это, и невмочь мне становится. Зачеркиваю время, зачеркиваю смерть — на бумаге ее нетрудно зачеркнуть — и не пишу уже, а шепчу, говорю, к нему обращаюсь, хоть никогда, при жизни его, и не обменялся с ним ни единым словом:

— Плоски, и как еще плоски, Александр Александрович! Вы же сами почувствовали это сквозь журчащую музыку его речи. Перечтите Вашу запись, ту, что музыка эта седьмого числа Вам внушила: «Входит Иисус (не мужчина, не женщина). Грешный Иисус. Красавица Магдалина». «Иисус — художник. Он все получает от народа (женственная впечатлительность). 'Апостол' брякнет, а Иисус разовьет. Нагорная проповедь — митинг.» Уверен, что уже сейчас, одиннадцатого, вы эту запись отвергли. «Красавица Магдалина», «грешный Иисус» — ведь пошлятина это, существу вашему совершенно чуждая. «Он все получает от народа», «художник» — ведь чушь это, да и «артистическое» самопревознесенье пишущего, парикмахера достойное, а не поэта. Попутал вас Ренан, о котором истинный поэт, равный вам, написал, перечислив хулителей Распятого, **что целует** он Его: et Renan le baise. Прав Клодель: **в этом** была хула. Радуйтесь, что не написали «пьесы об Иисусе Христе». Печальтесь, что проскользнул-таки в ваши

стихи бумажный, с наклеенным бумажным венцом интеллигентски-безблагодатный призрак Спасителя.

Только зачем же я, время упразднив, призываю Блока печалиться? Он и так опечален. Сам он говорит, что ненавидит порой «этот женственный призрак», то есть подсказанный Ренаном внешний облик видения, пусть именно в женскости (или двуполости) своей и не довоплотившийся в его стихах; подчеркивая в то же время, что «по существу» не отказывается — здесь я расчленяю его мысль — ни от имени, ни от самой эпифании Христа, о которой он, по его же словам, «может быть хуже всего сумел сказать» в «Двенадцати». О видении своем он весьма убедительно рассказал Алянскому и Павлович, но в поэму его перенося, придал ему облик, ослабивший и униживший его смысл. Не один Ренан его попутал: шестидесятническая пресно-рассудительная основа этого ножницами вырезанного белого силуэта сызмала в нем сидела, хоть и отталкивали его порой эти «старые российские заблуждения» (письмо матери от 4 декабря 1909 года, где об «идейности» идет речь, той самой, о которой и сейчас принудительно попугайствуют в его отечестве). Все церковное, однако, в самом внешнем смысле слова, отталкивало его и чаще, и сильнее, так что воображению его предрассудок этот преодолеть было едва ли не трудней, чем чувству или мысли.

Александр Иванов, в свое время, мог восторгаться предшественником Ренана, Штраусом, мог исповедывать самый плоский позитивизм, а в евангельских акварелях своих (как и Петров-Водкин, много позже, в упомянутых рисунках) темы их основной вовсе все-таки не снизит. Ни одной фальшивой ноты в них нет; не унижают они того, что изображают; вопреки воле и мысли их автора они даже попросту религиозны. Нестеров, однако, или Васнецов никого от Ренана не упасут; и Блока не упасли. Поэзия, как и живопись религиозной может и не быть, но унижать религию или развлекать ее до состояния жидкого чая с молоком никакое искусство без ущерба для себя, не уязвляя своей сердцевины не может. Блок религию унижил и свою поэму уязвил, заменив терновый венец «белым венчиком из роз», да еще и запятнав белую туманность, увиденную им кровавым флагом. Знаю, что «провались!» всему «старому миру» говорится, и что «пальнем-ка пулей» на прицел берет «святую Русь»; но ведь и те, кто горланил тогда «мы наш, мы новый мир построим» обещаемый им рай плохобы украсили, поставив на лугах его в мраморе «женственный призрак» со знаменем в руках, вымоченным чужою кровью.

Богоявление, однако, неудавшееся в поэме, совсем этим не исчерпало своего значения для автора. Но чтобы это понять надо вернуться назад, надо начать издалика.

3. Поэзия и религия

Поэзию от религии хоть и возможно отделить, но лишь с трудом, и не на самой глубине. У Блока, мысли и чувства, порождавшие его стихи, направлявшие, осмыслявшие и калечившие его жизнь, внерелигиозными едва ли можно назвать. Они либо противорелигиозны, либо религиозны (пусть и внецерковно), либо таковы, что не сразу скажешь, какое из этих определений определяет их верней.

Есть стихотворение второго тома, в 1905-ом году написанное, которое Блок до конца не разлюбил. В послеоктябрьские годы он им, большей частью, заканчивал чтение стихов на вечерах, так что слушатели знали: прочтет его, значит больше читать стихов не будет:

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.
Так пел ее глос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал
Как белое платье пело в луче.
И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.
И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у Царских Врат,
Причастный Тайнам, — плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Знаменитое стихотворение это не будет должным образом воспринято и во всем своем очаровании оценено человеком, никогда не присутствовавшим на православной обедне, не выдавшим людей, приближающихся к чаше, не слышавшим моления о плавающих и путешествующих. Настроение литургии, в юности, пусть и независимо от всей полноты ее смысла, острее всего ощущаемое,

передано здесь, как больше нигде в русской поэзии; но радость литургии достигает вершины во вкушении Даров, тогда как у Блока именно плач младенца перед раскрытыми царскими воротами, на руках матери, подносящей его к причастию, столь знакомый всем нам — хоть и не столь многим знакомый в нынешней России — именно этот плач, за миг до того, как приобщится младенец Хлебу и Вину, возвещает, что все моления напрасны и что радоваться было нечему. Безнадежность побеждает надежду, а с ней и веру; но как будто любовь не совсем ей удается победить; даже не совсем устраняет она ту «рыдательную покорность любви», о которой Розанов говорит (в «Темном лике») как об основной черте христианства. Водили Сашу в церковь. Говел он в Великом посту. Причащался еще и перед обручением — как и Любовь Дмитриевна. Стоит он теперь вместе с нами за обедней, слушает пение, возносящееся с клироса, уверениям веры не верит, а все же «из мрака» обращает лицо к алтарю. оттого и печаль его стихов остается проникнутой чем-то ликующим и светлым.

Стихи эти 5 августа 1905 года посланы были верующему и самому верному, самому любящему другу Блока, Жене (Евгению Павловичу) Иванову в письме, где есть и такие слова: «Скажу **приблизительно**: я дальше, чем когда-нибудь от **религии**; если бы точнее сказал, это значило бы — от Христа. За полтора месяца до того писал ему же: «Никогда не приму Христа» и «Что тебе Христос, то мне — не Христос». а за год до этого: «Не пойду врачеваться к Христу. Я Его **не знаю и не знал** никогда». И тут же прибавлял: «В этом отречении нет огня, одно голое отрицание, то желчное, то равнодушное». Было, жестоко, но было и мужественно, честно писать это именно Жене, которому, впрочем, через три дня после только что приведенных слов было в другом письме сказано: «Ведь я **'иногда'** и Христом мучаюсь. Для утешенья, вероятно, как и то тихое, «приблизительно». Однако последовали новые отрицания, их было больше, они звучали сильнее. Блок не лгал, конечно, и не ошибался, он и стихотворением, 5 августа посланным другу, о том же отдалении ему говорил, что и в письме. Прочитав эти стихи, мы только одно можем сказать: поэзия его ближе к религии, чем его воля и рассудок.

Отдаление это, отчуждение — от Христа, от Церкви, от церковного быта («Вербочки», написанные в 1905 году, свидетельствовали, однако, о другом) — скоро перейдет в отталкивание еще более резкое, в прямую ненависть. Через два с по-

ловиной года, в пасхальные дни, пишет он из Петербурга жене: «Я на праздниках, как чорт перед заутреней, и до сих пор не прошло это ужасное чувство. Точно и в самом деле происходит что-то такое, чего душа чужда». И на следующий день матери: «Эти два христианских праздника (Рождество и Пасха) все больше унижают меня; как будто и в самом деле происходит что-то такое, чему я глубоко враждебен». Унижен, враждебен, отчужден... На следующую Пасху (1909 года в Ревеле) пишет он такого же духа стихотворение, о котором речь впереди. «Как чорт — или бес — перед заутреней», это, конечно, готовая поговорка; произносят ее с усмешкой; но если вспомнить задолго до того написанные стихи «Люблю высокие соборы», одно из лучших стихотворений того первого, серафического, но порой и серо-фиолетового сборника (как будет сказано Музе: «И когда ты смеешься над верой, / Над тобой загорается вдруг / Тот неяркий, пурпурово-серый / И когда-то мной виденный круг»), — усмешка эта хочешь-не хочешь покрывается.

Блок и шутя — в этих делах — не шутит. А все-таки поэзию свою отвести от того «золотого иконостаса», о котором говорится в «Двенадцати» (« — Петька! Эй не завирайся! / От чего тебя упас / Золотой иконостас?») не удастся ему, и не удастся никогда. Хоть и говорят рассудок и воля: «Поддержи свою осанку! Над собой держи контроль!», а он, сам того не замечая, нет, нет, да и произнесет, вместо хулы, хвалу. Поразительно в этом отношении немедленно прославившееся, всем сразу по душе пришедшее стихотворение «Грешить бесстыдно, непробудно», написанное 26 августа 1914 года и опубликованное 21 сентября, под заглавием «Россия», позже устраненным, в газете «Русское Слово». Мочульский еще в 45-м году писал: «Стихи эти выжжены в каждой русской душе».

Напечатано оно было вместе с другим, чуть позже написанным стихотворением о начале войны («Петроградское небо mutilось дождем...»), озаглавленным в рукописи «Война»; звучало, как и это второе, обостренно патриотически, хоть и начато было еще в конце предыдущего года, и конечно тема его — любовь к России. Но не просто любовь, а любовь — ненависть, любовь, с трудом побеждающая ненависть. «Да, и такой, моя Россия, / Ты всех краев дороже мне» — надо было сперва мерзость России показать, чтобы эти заключительные строки получили всю предназначенную им силу. Мерзость ее мещан, торгашей, скопидомов, толстосумов, но едва ли не больше еще

сопряженную с этим мерзость суеверной их веды. бытовой набожности, неотличимой от ханжества, всех этих трезвонящих колоколов, золотых крестов, хоругвей, иконостасов... Таков был замысел; но стихи, странным образом, получились не совсем такие:

Грешить бесстыдно, непробудно,
Счет потерять ночам и дням,
И, с головой от хмеля трудной,
Пройти стороной в Божий храм.

Три раза преклониться долу,
Семь — осенить себя крестом,
Тайком к заплеванному полу
Горячим прикоснуться лбом.

Кладя в тарелку грошик медный,
Три, да еще семь раз подряд
Поцеловать столетний, бедный
И зацелованный оклад.

А, воротясь домой, обмерить
На тот же грош кого-нибудь,
И пса голодного от двери,
Икнув, ногою отпихнуть.

И под лампадой у иконы
Пить чай, отщелкивая счет.
Потом переслюнить купоны,
Пузатый отворив комод,

И на перины пуховые
В тяжелом завалиться сне... —
Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

Образ мужиковатого подрядчика или замоскворецкого — но в пояс кланяющегося Третьякову и Морозову — купчины, обрисованный с такой меткостью слова, каждой запятой, получился, что и говорить, непривлекательный. Икать, пса отталкивать, обмеривать (даже и на грош) нехорошо; счета отщелкивать, купоны слюнявить — некрасиво. У иконы и под лампадой особенно. Или Блок не это хотел сказать? Хотел только зачи-

слить лампаду, иконы туда же, куда купоны и счета? Вероятно. Но ведь и чаем тут «распаривают кручину», как сказано в других стихах, так что в целом выходит все это уютней, чем счетные машины (нынче), без лампад, без чая, без икон. А уж пройти **сторожкой** в церковь, разве это не гораздо лучше, чем на виду у всех, с главного крыльца? Или **тайком** к заплеванным плитам разве не лучше прикоснуться лбом, чем к чисто вымытым, отнюдь не таясь, по-фарисейски? Да и грошик медный, хоть и скуден дар, а зато как ласково звучит старенькое это словечко! «Три раза преклониться долу, / Семь — осенить себя крестом / ... / Три, да еще семь раз подряд... / — ведь это сильней по сочувствию, возбуждаемому в русских душах и — раз Блок это написал, как бы ни противился этому — в его собственной душе, чем, по ожидаемому отталкиванью нашему, все дальнейшее, включая пуховые перины и пузатый комод, которые и у Блока вероятно, если и вызывали отвращение, то смешанное с умилением. Так что этот «грошик медный», это «сторожкой», это «тайком», да и весь Божий храм назвал же поэт этим именем то, что предпочел бы, нужно думать, назвать совсем иначе — призывая нашу любовь к нашей и его стране не сквозь ненависть, не вопреки себе, а просто-напросто собою. Не «да, и такой», а именно такой любил, любят, именно такой и Блок — пусть и сопротивляясь, даже бесясь — «как чорт перед заутреней» — любил Россию.

«Не пойду врачеваться к Христу»... Он и не пошел. Пойти или не пойти — дело воли и рассудка. Но религию от поэзии отделить, противопоставить ей поэзию, оставаясь поэтом и большим поэтом, не так просто. Сопротивляется этому поэзия. Если сопротивление ее успешно, получается то, что получилось в обоих приведенных мною стихотворениях. Мнение поэта можно из них вычитать с полной ясностью, но куда мы мнение из них вычитываем, мы не читаем их так, как **они сами** требуют, чтобы мы их читали. Когда же мы творение воспринимаем, о мнении не помышляя, тогда «голос, летящий в купол», тогда «столетний, бедный и зацелованный оклад» делают свое дело: поэзия торжествует, и торжествует она заодно с религией.

Иначе получилось с упомянутым уже пасхальным стихотворением 1909-го года, в третьем томе напечатанным без заглавия, но в рукописи озаглавленном, ради явного сарказма, «Святая Пасха»:

Не спят, не помнят, не торгуют.
Над черным городом, как стон,

Стоит, терзая ночь глухую,
Торжественный пасхальный звон.

Над человеческим созданием,
Которое Он в землю вбил,
Над смрадом, смертью и страданием
Трезвонят до потери сил...

Над мировую чепухую;
Над всем, чему нельзя помочь;
Звонят над шубкой меховой,
В которой ты была в ту ночь.

Когда в 1911 году я прочитал эти стихи в «Ночных часах», они очень мне понравились; я даже их сразу запомнил наизусть. Шестнадцатилетнему мне — увы — продолжало еще нравиться и лермонтовское «За все, за все Тебя благодарю я...», а у Бодлера (краснея признаюсь) особенно я любил *A une Madone, ex-voto dans le goût espagnol*, — не из вражды к Божией Матери, Богу или пасхальным колоколам, а из простого мальчишества, того же, конечно, которое бабушкой избалованному Мишеньке внушило, подбоченясь, произнести: «Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне...» (ах ты, миленький, до чего расшалился!). Не прошло, помнится, и года, как я понял, что стихотворение это, напротив, одно из худших в сборнике, и почти с удовольствием читаю я теперь примечание к нему все того же архикомментатора (В. Н. Орлова): «Церковные праздники с ранних лет вызывали у Блока злобное антиклерикальное настроение». Заслужил он этими стихами этот казенный и суконный комплимент. Что ж тут плохого, что не торгуют? Или уж лучше торговать, чем Пасху праздновать? И почему это «терзает» ночь «торжественный пасхальный звон» (нехитрая, но лучшая строчка стихотворения). А концовка? Мадригалом «меховой шубке» обернулось в ней ходульное богоборчество. Отомстит поэту, еще лучше комментатора, за эту шубку один нынешний стихотворец; но об этом речь впереди; пока достаточно будет сказать, что хоть и хороша интонация «в которой ты была в ту ночь», но что она багателлизирует все прочее.

«Злобное антиклерикальное настроение!» Ярлыком этим заклеено, например, письмо матери, после женитьбы, из Петербурга: «У нас очень красиво в комнатах (...) В каждой комнате — по два больших образа и еще маленькие. Купили лам-

падки и зажигаем». Письмо это, правда, исключено из 8-го тома «Собрания сочинений» (1963); но зажигать лампадки любил Блок и много позже. В этом стихотворении, однако, он своим мнением, нетерпеливою своею злобой, сопротивление поэзии сломил, стихи свои тем самым, да и себя, быть может, покалечив. Какие бы мысли ни захотел вкладывать в свои стихи поэт, поэзия будет мыслить не наперекор религии, а в тайном родстве и согласии с нею. Можно такое мышление начисто отвергнуть, но тем самым будут отвергнуты сообща и религия, и поэзия.

У нас, однако, не столько о поэзии идет речь, сколько о поэте, о борьбе его мнений или взглядов — таких неясных для него самого, сплошь и рядом, но и таких страстных — с его поэзией. Поэту предстояло написать «Двенадцать», но и жить еще потом три с половиной года, уже без стихов, но во все той же внутренней борьбе.

(Продолжение следует)

СТИХИ ИЗ РОССИИ

Печатаемые ниже стихотворения молодого поэта получены нами из России. Псевдоним придуман нами. — Р е д.

Быть поэтом — не работа,
Безработица скорей,
Как в канун переворота —
Лихорадка словарей.

В предвкушеньи перемены
Тайна звука: ни гу-гу,
Вместо пенья — вой сирены
И глаголы на бегу.

По-началу — холостыми,
И в упор, наискосок,
Словно всхлипнувшее имя —
Слога красного комок...

Из некрашенных досок
Крышка. Кладбище. Песок.

Мне привиделся сон вчера,
Будто сонный я взят в плен
И меня сквозь прожектора
Под конвоем ведут вдоль стен.

И, взойдя на дощатый трап,
Тень зловещую заслоня,
Я, как гоголевский Остап,
Кличу: «Слышишь ли Ты меня?»

АННЕ АХМАТОВОЙ

Звуки кончились, умерли песни,
Величавый глагол не поет
В вашем городе — тем неуместней
С крыши капели и солнца восход, —
Словно в нимбе от мартовской стужи, —
О, как беден без вас небосклон,
Вместе с вами узнавший весь ужас
Изначальных и прочих времен!
Стынет лед у реки в изголовьи,
В равелины не плещет вода...
Было многих распятий суровой
Ваше мужество здесь, но когда
В осажденном народом соборе,
Пережившем осаду войны,
Как бы снова над тысячным горем
Были к куполу внесены
В хоре том ваши муки земные,
Ваши ночи и дни над толпой,
Над клокочущей вечно Россией,
И ваш образ возник надо мной, —
Вот тогда все слилось воедино:
Петербург и гранит, и Нева,
Взрыв эпох и страдания сына
И всеильные ваши слова.

СУДЬБЫ РОССИИ

Исправление по поводу письма Ленина в Политбюро.

По вине переписчика в дату под письмом В. И. Ленина членам Политбюро вкралась досадная опечатка. Фактическая дата письма 19-III-1922, накануне намечающегося заседания Политбюро.

Многие читатели запросили: откуда Редакция **Вестника** получила этот документ. Ответ простой: письмо это было извлечено из архивов по случаю Ленинского юбилея и попало в **Самиздат**, где получило широкое распространение. Как все, что печатается в **Самиздате**, письмо Ленина через некоторое время попало за границу. Подлинность его вне всяких подозрений.

А. СОЛЖЕНИЦЫН — М. П. ЯКУБОВИЧУ

Отзыв на третье и четвертое письмо о Л. Б. Каменеве и Сталине

Дорогой Михаил Петрович!

Кратко пишу о своих впечатлениях по горячему следу, сразу после прочтения Письма Третьего. Очень ясно и убедительно нарисована фигура Каменева и сообщены важные факты об этапах его жизни. Вообще этот фактический материал очень интересен и нужен современному читателю. Однако терминологическая одежда изложения, и молчаливое признание в качестве бесспорных многих пунктов, давно заколебавшихся (и даже уже опровергнутых историей и интеллигенцией), вызывает недоумение. Такую вещь легче напечатать, чем убедить ею просвещенного нынешнего читателя. С этой точки зрения и Вам — уже, мне кажется, нельзя рассуждать. (Какое уж там «перераспределение национального дохода», когда просто бессовестное ограбление крестьянства. Ну, и многое...)

Насколько я знаю — совещание 10 октября 17 года на квартире Суханова на Карповке было организовано женой его Галиной Флаксерман **в отсутствие Суханова и без ведома** его.

После прочтения Письма Четвертого.

Мне кажется, плюсы и минусы Третьего Письма как-то повторяются и здесь: снова пластичное и ясное изложение основных фактов в их связи, хорошо освещающее основные ступени Сталина к власти (впрочем — не все, упущена важная роль РКИ), а точка зрения автора на весь процесс этих десятилетий,

Без веры Русь — что купол без креста.

И вот — все меньше куполов с крестами,
И все лохмотней в душах нищета,
Как будто зло — в единстве с небесами.

Под силу ли мне выход отыскать

Из лабиринта круговой поруки,
Когда, как в детстве, и отец и мать
Боятся ими выдуманной «буки»?

Когда больна, быть может, вся страна

Той русской шизофренией,
Что в целом мире лишь любить вольна
Свою болезнь — чем дальше, тем ревнивей:

Когда причудливо так сплетены

Благие сны с кощунственной явью,
Что уж не верят запахам сосны,
Не радуются разнотравью,

Не любят ладана костров весной,

Не воздевают руки к поднебесью;
А я, как ратник ладонку с землей,
Несу повсюду веру в предвоскресье...

мне кажется, простите, недостаточно современной, или, точнее, не могущей быть воспринятой десятилетиями последующими. Здесь я не могу разъяснить этого подробнее.

Оценивая ЧК до овладения им Дланью Сталина, хорошо ли Вы помните, что начальник Лубянки Дугас и в 1925 г. волок за волосы в уборную девушек-эсерок, а на Соловках ставили под комаров на пеньки голыми, на Секириной горе сажали на жердочку, сбрасывали с лестницы. Не опрометчиво ли Вы считаете, что насильственные методы начались только с «золотой» и «вредительской» кампании.

О самом Сталине я не могу принять, что «это ум и талант, что «нет исторических основ считать его бездарной личностью». Потому что не могу признать за даровитость — искусство перегрызть горло, за ум — низкую ловкую хитрость. Я вижу, что к 1953 г. он привел государственный аппарат не в сохранности и целостности, как вы пишете, а со многими пробоинами и полуизгнившим. И это потому именно, что у него не было высокого ясного ума, позволяющего предвидеть будущее. Его «предвидение» в 1930-33, что западные страны не нападут на Советский Союз, слишком высоко называть проницательностью, не точней ли — свободой от догматизма и от поверхностной пропаганды. И уж конечно, не могу я признать «литературного дарования» за этим размазанным коровьим языком с убогими повторениями.

Очень глубоко вы раскрываете смысл и разносторонние цели вредительских процессов.

По поводу посадки «пленников» не договариваете, напротив, главную причину, заставляющую их сажать — совсем не месть за отказ от самоубийства (он так же не верил в возможность самоубийства, как в ТПК).

Обрисовывая Сталина, очевидно, нельзя упустить ни его предреволюционного поведения, ни поведения во время войны (побег в октябре 1941 г., дрожливую речь в июне 1941, беспомощный приказ № 127 в июле 1942). А его замкнутость и оторванность от всего мира? Его трусливость была чуть ли не больше его жестокости и хитрости.

Нельзя не обратить внимание, как сверкнуло у Вас замечание об Александре Невском, предавшем новгородцев татарским копытам. Как хочется, чтобы Вы перенесли на бумагу Ваши этюды, открытия и догадки по старой русской истории!

Искренне от души желаю Вам здоровья, улучшения в бытовом устройстве, переезда поближе и успешной работы.

Крепко жму руку!

Солженицын

И. ДЕНИСОВ.

СЛОВО ОТСТУПНИКОВ

I.

ОШИБКИ ПРОШЛОГО

Для того чтобы действительно преодолеть то страшное положение, в котором вот уже столетия находится Россия, необходимо не только выдвинуть новые конструктивные идеи, но и осознать ошибки нашего прошлого. Последствия ошибок далеко не всегда обрушиваются на совершивших эти ошибки людей. Нередко они бьют не только по родным и близким, но и по посторонним и даже по отдаленным потомкам. Наша задача — не повторять тех ошибок, что столь пагубным образом сказались на судьбах нашей родины.

Одной из центральных ошибок нашего прошлого было враждебное отношение России к Европе и католичеству. Чаадаев справедливо писал, что Россия в течение долгого времени находилась вне европейского развития. Действительно, ее не коснулись ни рыцарство, ни крестовые походы, ни развитие куртуазии, наук, философии, теологии, ни ренессанс, ни борьба реформации и контрреформации, ни многое другое. Русская Церковь, так же как и Византийская, была лишена самостоятельности и находилась в полном подчинении светской власти. Она ни во что не вмешивалась, веками довольствуясь разделением: власть правит, Церковь молится. В результате такого положения русская Церковь уживалась с проявлением произвола власти и угнетением народа. Крепостное право задержалось безобразно долго.

Петр Первый попытался европеизировать Россию, но сделал это внешне и искусственно. Не понимая истинного значения Церкви в жизни народа и исходя лишь из государственных задач, он совершил роковую ошибку — упразднил патриаршество. Русская Церковь, как и в допетровское время, по-прежнему оказалась подчиненной государству, хотя и в более откровенных формах: во главе Святейшего Синода, которым управлялась Церковь, оказалось даже не духовное лицо, а государственный чиновник. Очевидно, что такое положение не могло способствовать росту религиозного сознания в обществе. Плененная государством, Церковь оказалась беспомощной перед мощным процессом секуляризации. После революционного взрыва, лишенная опеки государства, не

имея достаточно твердого руководства и традиции активно влиять на общественную жизнь, она заняла оборонительную, а не наступательную позицию. В этом — трагедия русской Церкви, которая не сумела стать центром консолидации здоровых сил страны. Даже крестьянство не осталось под ее влиянием, став жертвой людоедской антихристианской агитации. Коммунисты через комбеды натравливали крестьян друг на друга; это внесло разложение и неспособность к дружным объединенным действиям, которые бы помешали проведению небывалого ограбления деревни в форме продразверстки. Двадцатые годы прошли под знаком бешеного искоренения религии и окончательного разложения деревни. В 1929 году был переломлен становой хребет страны: окончательно разгромлена деревня, добита Церковь.

Так раскаленные уголья — последствия прошлых ошибок — посыпались на головы с первых же дней октябрьского переворота. Не перестают они сыпаться и по сей день...

Особое место в истории России занимала интеллигенция. Эта категория лиц, кроме образования, обладала еще и рядом социальных и политических привилегий, что возлагало на нее определенную ответственность перед отечеством. Однако российская интеллигенция не имела верных мыслей и чувств, зато ошибочных, псевдо-научных было с переизбытком. В антигосударственном и антицерковном ослеплении интеллигенция просмотрела многое:

Первое. Страна была необъятна и обладала колоссальными природными богатствами. Представлялось огромное поле для предприимчивого освоения и развития различных отраслей, для делового участия в управлении и руководстве государственной и экономической жизнью. Интеллигенция не встала на этот путь, считая для себя более естественным возмущаться не порядками и дискредитировать самодержавие в глазах народа, сделать все, чтобы разбудить в его душе зверя.

Второе. На русский народ легло бремя колоссальной ответственности за судьбы многих наций, покоренных и завоеванных империей. Но интеллигенция не осознала своей культурной миссии по отношению к ним, просмотрела реформаторскую деятельность власти в европеизации управления, в насаждении либеральных тенденций, внедрении законности, развитии гласности и гражданских свобод, привлечении различных сословий к местному самоуправлению и т. д.

Третье. В царствование Николая II Россия достигла невиданного ранее расцвета. Блестящая финансовая реформа Витте обес-

печила золотое обращение в стране. Столыпинская реформа привела к значительному прогрессу земледелия. Развитие промышленности, транспорта, торговли находилось в стадии бурного подъема. Фабрично-заводское законодательство давало права рабочим на борьбу за свои интересы: забастовки, сходы, демонстрации. Каждый мог держаться любых религиозных и политических убеждений — государство не заставляло человека говорить вещи, которые он не признавал правильными, ибо человек не находился под властью гнета и насилия. Перед каждым была открыта широкая возможность личной инициативы и предприимчивости. Российский суд присяжных был одним из самых демократических в мире (бывали случаи оправдания террористов). Свободно печатались газеты разных направлений. Заседала Государственная Дума. Люди могли входить в любые партии. Свободы было больше чем в тогдашней Германии... Разумеется, мы вовсе не утверждаем, что в императорской России все было хорошо. Важно подчеркнуть другое: все, что было плохо, деятельно исправлялось, но исправлялось без участия и даже при противоборстве целых слоев интеллигенции. Если бы усилия интеллигенции были направлены в сторону дружного сотрудничества с правительством, то недостатки были бы стремительно и без всяких потрясений изжиты. Но вместо сотрудничества, к которому она была призвана своим положением в обществе, интеллигенция стремилась разъединить императорскую власть с народом. В России слой образованных и деятельных людей был невелик, а управление народом требовало постепенного реформирования веками сложившихся традиций в сторону демократизации. Кроме чиновников, опытом и знанием народа обладали работники земств, но их трезвые голоса тонули в гуле трескучих фраз и безответственных заявлений левой прессы. Не менее безумной была позиция Двора и государственных сановников и с них невозможно снять ответственности за происшедшее. Но речь идет об интеллигенции, которая не поняла и не приняла своего долга предохранить народ от тлетворной порчи, безбожной агитации, разжигания низменных инстинктов. В большинстве случаев она или насаждала бунтарские настроения или сочувствовала такому насаждению. Пример пугачевщины показал во что выливается в России бунт против законной власти. Единственным возможным направлением развития был бы переход от самодержавия к конституционным формам, рост гражданской ответственности и навыков участия в политической жизни населения. Преступлением и безумием было свержение монархии перед лицом врага, в разгар изнурительной войны.

Революция оказалась в конечном итоге делом рук интеллигенции, результатом ее безответственности, опрометчивости, даже злой воли. Указание на ее ошибки имеет одну цель — насторожить наших современников, предупредить их от совершения своих, быть может, не менее грубых ошибок, потребовать от них большей вдумчивости, самообличительной строгости. Только трезвость и сознание своей ответственности за происходящее выведет Россию из того тупика, в котором нам всем угораздило очутиться.

II

СЛОВО ОТСТУПНИКОВ.

1. На Церковь в последние полвека были обрушены гонения бешеной силой и злобы. Их жертвами стали епископы, священники и монахи, все стойкие христиане, не пожелавшие изменить Богу. Однако большинство мирян ознаменовало свое отношение к гонениям массовым отходом от Церкви. И вот наступила, наконец, пора и отступникам сказать свое слово. Гонение на веру и Церковь мы восприняли так, будто это нас не касалось. Мы, кто внешне, а кто и внутренне, приняли учение, от которого разило ложью, рабством, человеконенавистничеством. Одни из нас пошли по этому скользкому пути по своей серости, других подтолкнуло поколение революционных банкротов, третьи думали таким образом устроиться потеплее, четвертые просто струсили... Подводя итоги этому процессу, нужно сделать вывод, каким бы печальным он ни показался в житейском смысле: утратив все, что делает жизнь достойной и внушающей уважение, мы за пакостили свои души.

Справедливость требует, чтобы мы сами обрели христианский образ мыслей, поелику возможно искупили свою вину перед Церковью, не вмешивая ее в свою политическую борьбу, коль скоро мы отвернулись от нее в трудные годы. Сегодняшнее ее положение остается таким же тяжелым и бесперспективным — Церковь не способна ни к какой форме активности, находясь под неусыпным контролем власти и разьедаемая изнутри непростительным соглашательством. Мы за Церковь, но не желаем быть с нею связанными, ибо для нас это бесполезно, а для Церкви губительно. Одновременно мы выступаем категорически против сектантства, как раздробления всех христианских сил. Наш образец — это первые христиане, за свой страх и риск мы образуем крошечные братства,

которые впоследствии сольются в Воинствующую Церковь, если своими действиями будут того достойны. Единственное благо нашего вероотступничества мы видим в освобождении от предрассудков прежних веков. Т. о. мы твердо надеемся влиться в Единую Христианскую Церковь, которая обнимет в материнском лоне сектантов, православных, протестантов и католиков. Только в консолидации всех боголюбивых сил может быть достигнута необходимая мощь для борьбы. Будь это ранее, нам бы не пришлось стать отступниками.

2. История показала, что подлинная гражданская свобода была впервые завоевана христианскими народами. Так католические железные бароны в Англии XII в. вырвали Хартию Вольностей у Иоанна Безземельного. С тех пор начинается развитие парламентаризма, в которое впоследствии значительный вклад сделали народы протестантских вероисповеданий. Зависимость уровня гражданских свобод от исповедуемой религии достаточно исследована. Здесь лишь стоит подчеркнуть, что завоевание свободы требует сознательного, добровольного отречения от внешнего благополучия, принесения в жертву сил и лет жизни, подчас самой жизни. Христианство развивает в человеке способность к самоотречению, формирует личность, готовит ее к борьбе за гражданские свободы.

Революционер-атеист прошлого верил в абстрактные идеалы, но огненная вера, ведущая его на подвиг, чаще всего возникала на почве полученного в семье религиозного воспитания. С детских лет перед ними стояли образы Христа и апостолов, подвижников и мучеников, а в антитезе — жалкая и отвратительная фигура Иуды-предателя. Уподоблению подвижникам и библейским героям обязаны они своею способностью к подвигам.

Принципиально иным стало положение в обществе безбожном и безнравственном. Атеист оказывается в трагическом положении. Безбожие снимает с него религиозные моральные запреты. Императивы поведения определяются главным образом страхом наказания. Потому безбожник обладает максимальной внутренней свободой в направлении духовной разряженности, допускающей злые средства борьбы. Отрицательная направленность лишает человека внутренней стойкости, у него отсутствуют подлинные стимулы для реализации высших сторон своего духа. Жертва ради другого, риск для спасения погибающего становятся исключительными явлениями, а ведь они есть те краеугольные камни, на которых возводится здание борьбы за личную и гражданскую свободу. Таким образом, безбожник постепенно, а при крайних обстоятельствах

стремительно превращается в потенциального, а если потребуется, то и явного преступника. Для управления скоплением безбожников нужна диктатура. И в СССР они ее получили. Создание атеистического общества неизбежно связано с высвобождением и ускоренным беспрепятственным формированием злодейских элементов, необходимых для уничтожения остатков религиозных и нравственных сил. В процессе этой гнуснейшей операции осуществлялось подавление всего остального населения. Применение крайних террористических методов способствовало массовому формированию безбожного сознания и идеологическому оболваниванию. С детских лет поощрялись взаимные доносы, слежка, подозрительность, ненависть, отрицание подлинной дружбы... Таким образом все мы — вероотступники оказались разобщенными, разоруженными, изолированными, боящимися друг друга одиночками и вынуждены влачить полурабское существование.

3. Говоря о безбожниках, нельзя не выделить категории «партийцев», тем более, что их одиннадцать миллионов. Все сказанное выше к ним относится в первую очередь. Подавляющее большинство из них не верит в исповедуемое марксистское «учение»; его практическая неосуществимость, запутанность, мало-мальски критический разбор показывают всю его несостоятельность, и беспринципность. Справедливым будет утверждение, что все они (фанатики больше не встречаются) держатся за билет из шкурно-карьерных соображений. Однако круговая порука и неослабевающая дисциплина вынуждают исполнять каждый приказ партийных лидеров. Это превращает партию в самую реакционную силу. Кроме безбожия и догматической приверженности идее, положение усугубляется обилием кастовых предрассудков, привычкой к взаимному предательству, обязанностью по духу устава быть негласным осведомителем. Все это делает партию главным тормозом и противодействием любому проявлению свободы инициативы, творчества. Все общественные учреждения скованы ее неусыпным контролем. Сказанное о членах партии целиком относится к ее лидерам, которых отличает лишь большая материальная заинтересованность и стояние у кормила власти. Здесь же уместно отметить, что экономическая система очень затрудняет борьбу за освобождение. Полная зависимость человека от единого работодателя-государства плюс аппарат насилия делают борьбу с системой очень трудной, а для большинства разложенных безбожием и запуганных людей, просто невозможной.

4. Тотальный аппарат идеологического воздействия использует все виды массовой пропаганды, закрывает все источники информации. Миллиарды народных средств уходят на подкуп творцов идеологической отравы, в виде повышенных ставок, поощрений, гонораров. И тем не менее служба оболванивания существует только благодаря «опеке» органами подавления. Ложь, подлог, фальсификация, дезинформация казалось бы должны сделать невозможным существование свободного слова правды. Но это не так — правда, даже сказанная тихим голосом, заглушает сотни ревущих динамиков.

5. Велик грех русского народа по отношению к поработенным нациям, которым был силою штыков навязан коммунизм. Тот факт, что национальные интеллигенции каждой из них совершили предательство собственной свободы, не снимает нашей ответственности за их судьбы. Также несомненна наша вина за судьбы оккупированных народов, ибо нашими руками советская система утвердила свою колониальную империю, лишила их свободы, самостоятельности, навязала идеологию и образ жизни. Деятельное участие определенных слоев поработенных стран во внедрении и поддержке навязанной им системы, в деле закабаления собственного населения разделяет задачу освобождения на внутреннюю и внешнюю. Если очевидна наша неподготовленность к решению внешней задачи и здесь преждевременно брать на себя какие-либо обязательства, то частичное решение наших внутренних проблем облегчит положение национальных республик и заграничных жертв советской системы.

III.

НАШИ ЦЕЛИ, СРЕДСТВА, МЕТОДЫ.

НАШИ ЦЕЛИ

1. Первейшей целью нашей деятельности должна стать борьба с чумой безбожия и работа по восстановлению в России христианства в его высшем вселенском выражении. Только из него сможет родиться свободная личность, ответственная за свою судьбу, стоящая на страже своего достоинства. Необходимо построение либерально-демократического общества, в котором будет достигнута политическая, хозяйственная, творческая и религиозная свобода, в котором было бы возможно возрождение и примирение наций

друг с другом, которое перестанет быть очагом холодной войны и поджигателем международных авантур. Россия должна стать страной, не мешающей здоровой международной жизни, достигшей уровня материального достатка для всех.

2. Для этого необходимо разоблачать лжеучение, жертвами которого мы все стали, отказаться от низменных средств борьбы. Ближайшие цели будут всегда отвечать достигнутым уровням и на первых порах нужно покончить с узаконенной нищетой, добиться действия неискаженной конституции 1936 г., ввести контроль любых групп беспартийного населения за действиями «органов» суда, прокуратуры, тюрем, распустить колхозы, разрешить как единоличное хозяйство, так и товарищества по совместной обработке земли, передать им в собственность машины МТС, совхозов и совхозный скот. Все это по праву должно принадлежать сельским труженикам. Далее следует не менее, чем в четыре раза увеличить реальную заработную плату всех работающих по найму, а средства на это взять из статей финансирования международных авантур. Освободить от работы замужних женщин — мужчина, обладающий квалификацией рабочего среднего уровня, должен получить возможность за свой добросовестный труд содержать семью. Рабочие должны быть освобождены от налогов и вместе со служащими получать часть прибыли предприятия. Необходимо разрешить частную практику врачей, юристов и всех интеллектуалов, допустить труд кустарей и ремесленников, частную мелкую торговлю и предприятия бытового обслуживания. Узаконить проявления частной инициативы, что позволит упорядочить государственное производство без опасения создать голодную армию безработных. Эти мероприятия сами по себе будут способствовать оздоровлению общественной жизни, однако на первых порах потребуются всемерная борьба с пьянством вплоть до установления сухого закона.

3. Поскольку Церковь декретом отделена от государства, следует прекратить все виды вмешательства в ее деятельность и всякое давление на верующих. Властям прекратить любые антиконституционные действия, изъять из области применения все законы, указы, тайные циркуляры ей противоречащие. Борьбу за это можно осуществлять всеми действиями, гарантированными конституцией 1936 г. В случае нарушения прав использовать забастовочное движение, для чего следует к существующим отраслевым профсоюзам добавить объединяющие по профессиям.

НАШИ СРЕДСТВА.

Нашим идеалом должна стать деятельность апостола Павла. В его время языческий Рим жил своей жизнью, продолжал завоевания, а великий Апостол распространял христианскую веру, создавал Церкви, учил Слову Божию... Прошли годы и языческий Рим рухнул, ибо в его порах родился Рим христианский. За эту проповедь проливалась кровь одних христианских мучеников, а не их противников. Но наше время — это не эпоха первых веков христианства. За двадцать веков весь мир пронизала единая христианская цивилизация, что относится и к нашей стране, невзирая на 50 лет жесточайших гонений на веру. Потому наша деятельность должна протекать одновременно в нескольких планах. Это означает, что сегодня необходимо разоблачение ошибочных принципов коммунистической системы, ее преступлений, питающих насаждаемое безбожие. Возвращение к религиозному миросозерцанию и обращение в христианство. Борьба легальными средствами за гражданские права, за конституционность правления и за использование гарантированных конституцией свобод. Мы отвергаем все насильственные низкие средства борьбы, все грязные и недостойные приемы, любые проявления человеконенавистничества, злобы, мелочности. Выработка стойкой убежденности в своей правоте, мужественного, бесстрашного духа — наша задача. Ставка на высокие качества души поможет научиться действовать втайне (к чему нас временно вынуждают обстоятельства), молчать, когда это необходимо. Через образование крошечных братств, через достижение демократии в своей среде родится зерно будущей демократической России. Справедливым должно быть отношение к нашим врагам, подчас даже дружелюбное. В лютом сегодняшнем гонителе мы должны видеть завтрашнего нашего сторонника. Советский человек — жертва собственных заблуждений, в них повинны воспитание, школа, система. Мы должны уметь прощать тех, кто осознал свою вину и доказал это на деле. Но только на деле, обязательно на деле. Христианин осуждает грех, но прощает грешника, так и мы объявляем дружелюбное отношение ко всем людям и беспощадность к лживым идеям, к коммунистической мифологии. Всякое действие должно быть обдуманным, не подчиняться эмоциональному порыву. Но наш арсенал вырастает на основе христианской веры. Из нее мы будем черпать верные мысли, твердую волю, чистоту души и любовь к людям, которая поможет нам победить ненависть к гонителям. Создание широкого общего направления деятельности, в котором бы каждый смог найти свое место, —

наша задача. Нам не по пути с экстремистами, если таким суждено появиться, а также с теми, кто считает, что в борьбе все средства хороши и что противник — не человек. Из таких настроений и установок родился 1917 год, и все последующие трагические события в нашей истории питались из того же источника. Снова их поощрять и воспитывать равносильно сознательно повторяемому преступлению.

НАШИ МЕТОДЫ.

1. Следует учитывать реальные недостатки населения. Оно разложено в религиозном и нравственном отношении, поэтому от него невозможно ожидать стремления к подвигу, пламенного порыва к борьбе, железной стойкости и всего, что было спутником религиозных движений на Западе. Не следует сразу требовать невыполнимого. Приходится учитывать преобладание апатии, лени, отсутствия личной инициативы, трусливого выжидания, недоверия к окружающим и многого другого. Поэтому не надо сразу требовать активности. Идеиное и духовное прозрение, нравственное чувство стыда за свой полурабский образ жизни окажутся лучшим стимулом для пробуждения деятельной энергии. Мы же должны помогать процессу прозрения, рождению нравственного сознания.

2. Нашим маленьким братствам из нескольких человек мы присвоим древнехристианскую эмблему «рыбы»: абсолютное молчание перед оком недремлющей власти — самый безошибочный способ поведения.

3. Мы должны участвовать в рождении свободного общественного мнения. За неимением лучшего можно за основу взять конституцию 1936 г., которая должна быть очищена от всех добавлений к статьям, возникших под влиянием политического бандитизма тех лет. Такое очищение должно быть распространено и на возможные искажения, внесенные после 1953 г., на все применяемые в судебной практике законы, указы, инструкции, противоречащие духу и смыслу конституции. Воспитание правосознания — первейшая сегодняшняя задача, деятельность за фактическую отмену всех извращений должна проводиться в русле борьбы с произвольными расправами над представителями свободной общественности. Под давлением борьбы общественности за свои права власти вынуждены будут постепенно отказываться от методов насилия и

произвола, постепенно приобретая опыт либерально-демократического правления. В противном случае они обнаружат полную неспособность изменить свою античеловеческую деспотическую сущность перед лицом общественности, обнаружат свое подлинное берианское лицо. Потому мы должны быть готовы к борьбе за каждое нарушение конституции, в какой бы области оно ни имело место: в религии, правосудии, в гарантировании политических свобод.

Подпись протестов против безрассудных расправ, закрытых процессов и прочих видов юридического беззакония является долгом каждого человека, сознание которого созрело до ясного понимания необходимости легальной борьбы за права личности, действующей в рамках конституции. Эффективность таких действий зависит от количественного и качественного состава подписантов. Это одно из наиболее надежных средств для завоевания демократии. Если государство начнет преследовать подписантов увольнениями с работы и другими методами, то каждая мера давления должна встречать ответные действия общественности, вовлекающей профсоюзы, райкомы, парткомы, втягивая большее число запуганных бесправием людей, взывая к их совести, ответственности. Объяснять, убеждать, доказывать, что это есть борьба за общие интересы, что беззаконие есть бич для всех граждан, который может ударить по каждому. Бояться нечего: борьба за конституцию и законность — священное право каждого гражданина, судебно преследуя протестующих, государство неприкрыто выступит как тиран, отказавшись от привычной демагогии. Его положение станет ухудшаться, создавая репрессиями новые очаги протеста, которые, оставаясь в рамках законности, рано или поздно вынудят власть к отступлению. Волны протестов неизбежно внесут неуверенность и панику в низовой аппарат управления, что скажется и на настроениях высших чинов. Кроме того, большая ошибка думать, что все позволено и что с мировым общественным мнением можно не считаться.

4. Мы против участия в чисто политической борьбе, власть нам не нужна и мы за нее бороться не будем. Наше дело — просвещение, религиозное возрождение народа и борьба за законность. Допустим, власти решили закрыть или разрушить храм. Собирается демонстрация. Мы в ней участвуем. Здесь задета свобода совести, гарантированная конституцией, и мы как граждане открыто идем ее отстаивать. Это не политика, а стремление исправить ошибку власти, чаще всего местной.

Вот творится беззаконие на суде. Люди собираются у суда, пишут протест. Мы его подписываем.

Но вот митинг по месту работы, где от собравшихся требуется одобрить действие правительства, которое ввело войска в Чехословакию. Это уже чистая политика. Здесь затрагиваются отношения между двумя коммунистическими державами, здесь всякие договоры и договоренности, которые надо хорошо знать. Конечно, сердце сразу подскажет, что совершается черное дело удушения свободы братского народа. Но на этот раз наш протест должен быть немым, ибо взявшись за решение своей гораздо более важной задачи, мы не имеем права уклоняться в сторону. Но мы не собираемся проповедывать невмешательство. Мы только точно разграничили свою область: она лежит внутри страны и не касается политики.

По нашему мнению, вставать на путь чисто политического протеста могут в первую очередь полярные противоположности, коммунист, поднявшийся до убеждения о необходимости исправления своей системы и христианин, убедившийся в том, что Божья воля требует от него открытого противоборства. Однако нужна большая вдумчивость, духовная трезвость и согласие братства, чтобы не принять порыв внутреннего возмущения, протест гражданской совести за голос Божий. Протесты по чисто политическим мотивам полезны, и в первую очередь для власти, но надо, чтобы они оставляли плодотворный след в сознании населения, а для этого нужны трезвые, продуманные и ответственные акции.

5. Следует сказать также несколько слов о так называемой «идеологической диверсии». Обычно под диверсией понимают уничтожение преступными средствами чего-либо полезного или необходимого для общества. Но марксизм — это груда заблуждений, ложных выводов и фальсификаций. Потому его разоблачение необходимо для человечества. В разоблачении ошибок люди всегда видели движение вперед. Оно есть средство прогресса. В разоблачении лжи нет ничего преступного; преступное в этом может мерещиться только тиранам. Кроме того, есть абсолютный и совершенно беспристрастный критерий — истину уничтожить невозможно. Поэтому термин «идеологическая диверсия» — всего лишь устрашающая формула, изобретенная, чтобы парализовать поиски правды. Но процессы очищения от заблуждений неизбежны. Нет сил, которые их могли бы остановить. Процесс очищения мира от ложных идей должен быть связан с созданием положительного мировоззрения.

О ТЕХ, КТО ПОЙДЕТ С НАМИ.

Полувековое искоренение религии и религиозного сознания принесло свои ядовитые плоды. Поэтому наша деятельность неизбежно столкнется с множеством препятствий. Но путей просветления много и многих они приведут к нам:

— Если молодой ученый, проучившись двадцать лет, поймет себя не как придаток к письменному столу, а вечером — к телевизору и, поставив перед собой один из кардинальных вопросов бытия, продумает его до конца, то почти наверняка он встанет в наши ряды.

— Если рабочий, выключив громкоговоритель и бросив в угол непрочтенную газету, задумается о том, как жил, трудился и боролся его дед и как скудно, униженно, придавленно существует он сам, когда он представит себе жалкую перспективу своей жизни и увидит, что водка не украшает ее, а втаптывает в грязь и, что есть нечто в нем самом, что судит, порицает, возмущается и зовет к лучшему — то он близок к прозрению, он будет в нашем братстве.

— Если студент поймет, что кроме занятий и стадиона существует его ответственность за завтрашний день родины, он станет нашим союзником.

— Если патриотическое настроение приведет человека к боли за недостойное положение своего народа и он захочет его улучшить — то он уже идет в наших рядах.

— Если сельский труженик вспомнит о вере отцов и сумеет найти связь между безбожием и своим униженным положением, то он поймет все наши слова и станет нашим братом.

— Если сектант в состоянии критического раздумья согласится с тем, что своим отъединением он раскаляет и ослабляет христианский мир — то он не потерял для Единой Христовой Церкви.

Конечно, эти отдельные примеры отнюдь не охватывают всего многообразия человеческих личностей. Это лишь слабые намеки на глубокие процессы, совершающиеся в душе и сознании современного советского человека. Наша задача — помочь этим изменениям и правильному выбору. Но наша помощь окажется действительной для тех, кто сам стремится к истине и справедливости, в ком пробудятся добрая воля и решимость исполнить свой высший долг.

ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ

ГОРОД ВЛАДИМИР

В вашем туристском путеводителе о нем сказано примерно так: город на территории РСФСР. Административный центр Владимирской области, население... площадь... Один из древнейших исторических и культурных центров России. Основан великим князем Владимиром Мономахом в 1108 г. Достопримечательности: Успенский собор постройки XII века с фресками А. Рублева (конец XIV — начало XV веков), Дмитриевский собор, Золотые Ворота, Кремль, живописные окрестности, церковь Покрова на Нерли.

Для нас же, доставленных сюда этапом в августе 1963 г., основной и единственной достопримечательностью являлась тюрьма № 2. Её мы увидели сразу же, как сошли с поезда, на холме над вокзалом, и видели её все время, пока потели на перроне под августовским солнцем, построенные в пятерки под конвоем автоматчиков, ожидая тюремные машины.

И Успенский собор, и Дмитриевский собор, и храм на Нерли и прочие достопримечательности, указанные в путеводителях, и шумные перроны, и туристы в кедах с рюкзаками и с этими самыми путеводителями, и матери, и жены с детьми, и вся Россия — были по ту сторону цепи автоматчиков, так же как и мы, потевших на солнце и потому злых на нас.

Тюрьма на холме пока еще тоже была по ту сторону, но только пока, пока мы ехали в неё, сначала в вагонзаке, затем, — дождавшись наконец, — в «авто-заке», и вот мы уже в ней.

- Фамилия!
- Иванов.
- Имя, отчество, год рождения!
- Юрий Евгеньевич 1928.
- Статья, срок, срок тюремного!
- Семьдесят, часть вторая. Десять. Три.
- Образование!
- Высшее.

- Специальность!
- Художник.
- Проходи!
- Фамилия, имя, отчество!
- Вандакуров Юрий Петрович.

—

— 1932.

—

— 70, часть вторая, 10, 3.

—

— Кузнецов Борис Михайлович.

—

— 1932. 70, часть вторая. 15. 3.

Фамилия, имя отчество!.. Год рождения!.. Статья, срок... Фамилия... Год рождения... Статья... Срок...

Обыск. Раздеться до-нага. Дело привычное. Только здесь постroje, потщательнее.

Собственных книг с собой в камеру брать не разрешается.

Продукты сдать на склад.

Теплую одежду сдать на склад.

При обыске присутствует женщина — «хозяйка» — довольно молодая особа. Для неё это тоже дело привычное. Беседует с обыскивающими нас надзирателями о своем, домашнем. Сплетничает об общих знакомых. Затем затрагивается волнующий всех вопрос о том, что «в четырнадцатый магазин должны выбросить свежую рыбу».

Все деловито, обыденно. Даже скучновато как-то. Не чувствуется любви к искусству.

Вот у немцев наверно бы... Да! Но — некогда. Ведут в баню. Баня как баня. Грязная. На стенах слизь. Ничего особенного. Обычная тюремная баня. Бывают и хуже.

Выводят во двор, ведут, как тут говорят, «на корпус».

Идем в колонне по одному.

Руки назад.

Не разговаривать.

Не смотреть по сторонам.

Идем.

Вот, значит, и знаменитая Владимирская тюрьма... Бывший Владимирский каторжный централ. Тут сидел их Фрунзе. При случае они любят об этом напомнить. Сидел он в так называемом каторжном «польском» корпусе. Вот он, — красный — из добротного кирпича, на нашем пути из бани. Сейчас это второй,

больничной, корпус. Стало быть, самый лучший. А нас ведут мимо него в первый корпус. Похуже. Постройки 30-х годов. В нем уже не мог сидеть Фрунзе. В нем отбывал срок тюремного заключения Даниил Леонидович Андреев — поэт, сын Леонида Андреева. В нем отбывал 25 лет Гогоберидзе — бывший министр правительства Грузии, существовавшего до 21 г. Отбыл весь срок. Овобожден в 1968 г. В нем отбывали тюремное заключение немецкие генералы и так называемые «старые большевики», воры рецидивисты и украинские националисты, «бериевцы» и «троцкисты».

В нем умирали. Из него уезжали в лагеря. Из него освобождались. Редко.

Это кирпичный прямоугольник в четыре этажа и ровными рядами маленьких окон. На окнах — решетки. В нижнем этаже еще тонкая проволочная сетка. Кое-где на окнах козырьки.

Направо — забор. За забором зелень. Может быть, там парк? Деревья старые, развесистые и их много.

Оттуда слышны звуки музыки. Играет духовой оркестр. Труба диссонирует. Подходим ближе к первому корпусу — музыка слышнее. Ага! Это траурный марш Шопена. Там — за забором — не парк, а кладбище. На кладбище кого-то хоронят.

Мы входим в корпус, поднимаемся на третий этаж. Камера № 90 на 5 человек. Нас в ней пока трое. На окне козырек — значит, камера строгого режима. В двери открывается форточка. Вызывают пофамильно. Читают:

Постановление

Заклученному такому-то, осужденному по статье... за преступления, совершенные в местах лишения свободы, прибывшему в тюрьму № 2 г. Владимира из исправительно-трудового учреждения, отбывавшему ранее тюремное заключение, **определяется строгий режим содержания** на срок не менее 6 месяцев, первый месяц назначается пониженное питание.

Начальник тюрьмы.

Подпись.

Форточка захлопывается. С улицы слышны звуки духового оркестра. Труба диссонирует. Это траурный марш Шопена. По ту сторону забора городское кладбище. На кладбище хоронят. С 9 до 17 часов. Каждый день, кроме воскресенья. Все три года

мы будем слышать под окном этот марш. Каждый день. С 9 до 17 часов, с небольшим перерывом, кроме воскресений. Постепенно мы начинаем различать и другие звуки, они доносятся из коридора. Слышно, как в камере напротив (общий режим) говорит радио. Голос диктора сообщает: «...осуждены к разным срокам тюремного заключения, сроком от 1 года до 3-х месяцев. Все прогрессивное человечество протестует против произвола, учиненного над...»

Это уже юмор. Вообще, здесь довольно много веселья. Несколько отвлекаясь, скажу к примеру, что клич «Свободу Манолису Глезосу!» с некоторых пор стал чем-то вроде шуточного пароля во время моего пребывания во Владимирской тюрьме и на 10-м лаготделении Дубравного ИТУ.

Слышно, как в коридоре лязгнула камерная дверь. Крик: «Пусти руку, сволочь! Ах ты, ... ». Возня. Ещё сдавленный крик. Кузнецов Борис констатирует: «Кому-то надели наручники...» Голос диктора из камеры напротив: «Как стало известно из компетентных источников, ко всем осужденным прогрессивным деятелям применяются меры строгой изоляции. Они содержатся в условиях, противоречащих принципам «Декларации Прав Человека», принятой ООН, текст которой подписан, в частности, и деятелями государственными этой страны...»

Советское правительство, весь советский народ присоединяет свой голос протеста ко всему прогрессивному общественному мнению, провозглашает свободу патриотам...»

А ещё воскресенье на строгом режиме отличается от будней тем, что получасовой прогулки в этот день не полагается.

— Как фамилия?

— Иванов.

— Предупреждаю: сидеть на койке правильно.

— То-есть, как это — правильно?

А так: не приваливаться на подушку. Не дремать. Дремать не положено. Правила читал? Вот так. Предупреждаю. Буду наказывать. Все.

Из «Правил поведения заключенных в тюрьмах МВД РСФСР»:

Заключенным запрещается:

— лежать на койке в дневное время, от подъема до отбоя, за исключением лиц, имеющих на это специальное разрешение врача...

Пониженное питание на строгом режиме в тюрьме — это 450 гр. хлеба, несколько штук килек и кипяток утром, черпак простых щей или супа на обед и несколько ложек каши на ужин. Все. Сахар не полагается. Мяса не полагается. В ларьке можно покупать на 2 рубля в месяц, только табачные изделия, спички, мыло, зубной порошок, простые карандаши, конверты, марки и т. п.

Установлено, что ни один человек, находясь длительное время на таком пайке, не может вести нормальный образ жизни, не испытывая постоянно, даже во сне, мук голода. Именно мук, ибо постепенно мысли о пище вытесняют все другие. Человек еще может внешне держать себя прилично, может не кланяться у раздатчиков и делить свою пайку на три части.

Но не думать о еде он не может.

Как правило, отбыв на строгом режиме 6 месяцев, — остальные 5 месяцев отличаются от первого тем, что хлебный паек уменьшается до 400 гр., остальная же пища выдается по общей норме, без права закупок продуктов в ларьке, без права получения посылок и передач, — человек уже почти не может читать, быстро устает, становится сонливым, короче говоря — обнаруживает все признаки физического и нервного истощения.

Пребывание на строгом режиме может быть продлено начальником тюрьмы практически на неопределенный срок. Время от времени, как правило с месячным перерывом, за так называемые «нарушения режима» может возобновляться режим пониженного питания. Я встречал людей, отбывших на строгом режиме более двух лет.

Ко всему прочему следует добавить, что здесь весьма широко практикуется такой «метод воспитания», как водворение заключенных в карцер.

Из «Правил поведения заключенных в тюрьмах МВД РСФСР»:

Меры взыскания:

— водворение в карцер на срок до 15 суток.

Примечание: Горячая пища в карцере выдается через день по пониженной норме. В дни лишения горячей пищи наказанному выдается только хлеб, соль и кипяток. Постельные принадлежности в карцер не выдаются. Заключенные, переведенные в карцер, на прогулку не выводятся.

Его привели в нашу камеру под вечер, после ужина. Из карцера. Звали его Хорошилов Василий. Родом из-под Москвы. Ра-

нее неоднократно судимый за бытовые преступления. Последняя судимость за антисоветскую агитацию среди заключенных «исправительно-трудового лагеря», где Хорошилов отбывал очередной срок.

Статья 58-10 ч. I УК РСФСР. Малограмотен. На лице его, на груди и на руках были выколоты свастика и слова «Раб СССР» и «Раб КПСС». Татуировки были выполнены кое-как, очевидно, второпях. Он сказал, что отбыл 15 суток карцера за нанесение этих татуировок. Еще он сказал, что есть постановление о привлечении его к уголовной ответственности по ст. 77-1 и 70 часть 2.

Из Уголовного Кодекса РСФСР:

Ст. 77-1 — Действия, дезорганизующие работу ИТУ.

Особо опасные рецидивисты, а также лица, осужденные за тяжкие преступления, терроризирующие в местах лишения свободы заключенных, ставших на путь исправления, или совершающие нападения на администрацию, а также организующие в этих целях преступные группировки или участвующие в таких группировках, — **наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет или смертной казнью».**

Хорошилов был голоден.

Он находился на той стадии истощения, что не мог уже поверить в возможность поесть досыта. За корку хлеба или ложку каши он способен был на все. Он хотел есть. Уже много месяцев подряд ни одного дня он не был сыт, ни одного раза не наелся досыта.

В сущности, этот человек недоедал всю жизнь. С самого детства. По его же словам, всего 2 или 3 раза за всю свою жизнь ему предоставилась возможность поесть колбасы, так сказать, вволю. Никогда он не пробовал никаких лакомств, дороже дешевого джема или рублевых конфет.

На воле он бродяжничал, нищенствуя и воруя. Был осужден первый раз еще несовершеннолетним и с тех пор на свободу не выходил. В так называемых «хороших лагерях» не был, ибо, будучи человеком характера робкого, неизбежно вовлекался в орбиты враждующих между собой воровских группировок, чтобы быть вблизи сильных и пользоваться подачками, и в конце концов оказывался на скамье подсудимых, после чего — штрафной лагерь или тюрьма.

В тюрьме его знали. Он побывал во многих камерах и на прогулках о нем отзывались плохо.

Он был жалок, но его никто не жалел. Во Владимирской тюрьме люди не могут позволить себе такой роскоши, как жалость, вероятно, потому, что каждый в какой-то степени заслуживает жалости и смутно чувствует это. Хорошилов был слабее других и потому подличал. За это его били. Он опускался все ниже и ниже...

Но где-то в глубине подсознания зрело некое смутное предчувствие, что в чем-то состоит и его миссия. Что-то и ему надлежит сделать такое, что оправдывало бы в какой-то степени наличие его на земле, как персоны. Может быть, он и не так думал. Скорее всего — не так. Вероятнее всего, он только чувствовал, что надо что-то сделать. И он сделал. Он знал содержание статей 77-1 и 70 часть 2 и знал, чем грозит это сочетание ему — особо опасному рецидивисту.

На третий день своего пребывания с нами в камере № 90 он увеличил состав своего предъявленного ему ранее обвинения тем, что написал чернилами на стенах камеры «Смерть коммунистам!» и «Хлеба!»

Он был переведен в карцер, а через несколько недель осужден к расстрелу. Верховным Судом РСФСР мера наказания была изменена и Хорошилову было определено 15 лет лишения свободы.

В 1966 г. Хорошилов вновь был отдан под суд по обвинению в действиях аналогичных описанным. Психиатрическая экспертиза нашла, что действия Хорошилова носили сознательный характер. Суд состоялся и Хорошилов второй раз был приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение.

Так жил з/к Хорошилов Василий и так он умер. Встаньте.

В том же 1966 году, во Владимирской тюрьме умер заключенный Гречкин, 62 лет. С незаконченным высшим образованием. Дважды судимый за антисоветскую деятельность.

Гречкин был калека. У него не было правой руки по плечо. Не было правого глаза. Еще в детстве он получил эти увечья, попав в барабан молотилки. Он был сын зажиточных крестьян Саратовской губернии. В 20-х годах учился в Ленинградском университете на юридическом факультете.

Узнав о том, что все его родственники дома арестованы, он вынужден был оставить университет и начать бесконечные хождения с бесполезными ходатайствами и жалобами по поводу беззакония, учиненного над его семьей. Единственным результатом этих хождений явился арест, обвинение по ст. 58-10 и 10 лет концлагерей. 10 лет в Соловках и на Беломорканале.

После отбытия 10 лет Гречкин приезжает на родину и зарабатывает себе пропитание тем, что пишет малограмотным землякам своим жалобы и заявления, стараясь разъяснить людям их права, помогая им отстаивать эти права, во всяком случае, в той мере, в какой вообще-то можно говорить о правах в условиях существующего режима. Вероятно, люди были благодарны ему и берегли его, т. к. до 1962 года Гречкину удавалось прожить на свободе. Однако, в 1962 году он выступил перед большой толпой людей на базаре своего городка с призывами к борьбе против режима, в защиту попранных человеческих прав и человеческого достоинства.

Он был арестован «за нарушение общественного порядка» т. к. свидетелей, готовых подтвердить антисоветский характер его выступления, не нашлось. Поразительный факт, неправда-ли? Сразу же после того, как Гречкин был осужден к восьми годам, ему предъявляется новое обвинение — в антисоветской агитации среди заключенных, содержащихся вместе с ним в камере.

Новый суд. Гречкин — инвалид 1 группы — калека, больной гипертонией — признан «особо опасным рецидивистом» и осужден к 10 годам лишения свободы, из которых первые 5 лет он должен был отбыть в тюрьме.

Своим поведением в самых трудных условиях, на строгом режиме, этот человек являл пример стойкости, образец духовной чистоты и честности по отношению к товарищам. Он знал, что не доживет до конца срока заключения, но не отчаялся, не опустил, ибо он верил.

И он умер.

Встаньте!

Из инструкции для тюремной администрации. Секретно.

Голодовка является нарушением тюремного режима.

В случае объявления заключенным голодовки, начальник тюрьмы обязан выяснить причины этого поступка и всеми мерами постараться убедить объявившего голодовку принять пищу. В случае отказа со стороны последнего начальник тюрьмы обязан:

1. В течение суток сообщить прокурору о случившемся с указанием причин голодовки и о мерах, принятых в связи с этим;

2. Перевести заключенного, объявившего голодовку, в отдельную камеру и обеспечить наблюдение за состоянием здоровья последнего силами медперсонала тюрьмы.

3. В случае, если объявивший голодовку продолжает отказываться от пищи, распорядиться об искусственном питании не позднее, чем через 3 суток после объявления голодовки.

Я, назвавший себя в начале этого рассказа, державший голодовку в тюрьме № 2 города Владимира с ноября 1963 года по февраль 1964 г., свидетельствую:

Я был переведен в отдельную камеру только через 7 суток после объявления мной голодовки.

Искусственное питание было применено только на одиннадцатые сутки, т. к. врач первого корпуса, осматривая меня перед переводом в отдельную камеру, а затем ежедневно, не рекомендовал этой меры, т. к. по его мнению, «в ней (этой мере) еще не было необходимости».

Так называемое «искусственное питание» состояло из тех же самых продуктов, что и вообще, только приготовлено по «специальному рецепту», т. е. имело вид жидкой кашицы, для того, чтобы было удобно вводить это питание через зонд.

Отдельная камера, куда я был помещен, была, даже по тюремным нормам, непригодна для сколько-нибудь продолжительного пребывания в ней, т. к. почти не отапливалась и по этой причине стены и потолок в ней почти до половины были покрыты инеем.

Находясь в этой камере вдвоем с другим голодающим — Толмасыном Карленом Сиравовичем — несколько суток, я, так же как и Толмасын, все это время почти не спал, ибо холод еще больше увеличивал физические страдания, неминуемые в этом состоянии.

Через несколько суток — не могу сказать с точностью, через сколько — меня и Толмасына перевели в более теплую камеру. Это была мера, которую администрация была, очевидно, вынуждена принять, т. к. здоровье каждого из нас приняло к этому времени крайне опасный характер: каждый из нас был уже настолько истощен, что почти полностью прекратилось слюноотделение; ни я, ни он уже не могли ходить, лично я уже не испытывал чувства голода.

Несмотря на все эти тревожные симптомы, качество так называемого «искусственного питания» не было улучшено, вводилось оно через день, и только через месяц это питание стали применять ежедневно, улучшив несколько его качество. Было разрешено также сделать несколько инъекций глюкозы.

Я не знаю, извещен ли был прокурор о голодовке сразу после того, как я её объявил, или это было сделано позднее, однако моя встреча с прокурором состоялась в связи с его обычным, «плановым» посещением тюрьмы, что, кстати сказать, делалось крайне нерегулярно.

Разговор с прокурором — если это можно назвать разговором — носил, мягко выражаясь, односторонний характер, т. е. мне пришлось выслушать очередную порцию угроз и выговоров, примерно, такого рода: «голодовка — нарушение режима», «если вы хотите обратиться с просьбой, то для этого существуют указанные способы, перечисленные в правилах», и тому подобное. От разговора же по существу прокурор фактически уклонился.

После прекращения голодовки, несмотря на то, что состояние моего здоровья было крайне тяжелым, я был помещен снова в камеру со строгим режимом содержания, об условиях которого здесь уже говорилось.

Только после окончания срока строгого режима, да и то по причине очень тяжелого состояния, меня перевели в тюремную больницу.

Мистер Гревилл Винн был осужден к 8-ми годам лишения свободы по так называемому «делу Пеньковского» и отбывал срок в Владимирской тюрьме.

Мистер Г. Винн находил, что условия, в которых он содержался в этой тюрьме ужасны (terrible).

Он получал в тюрьме больничное питание — так называемый «язвенный стол», однако считал, и, вероятно, совершенно справедливо, что все блюда готовятся неправильно, неаккуратно, и по этой причине на вкус они мерзки (loathsome) и к употреблению почти непригодны. Обо всем этом Винн заявлял в устной и письменной формах, через переводчика и при помощи своего сокамерника — Геннадия Борисовича Тарасевича — заместителя начальника Управления КГБ Владимирской области полковнику Шевченко В. И., а также подробно описывал это обстоятельство в своих воспоминаниях, после того, как возвратился на родину.

Когда мистер Винн узнал о том, что заключенные, содержащиеся в 1-ом корпусе, поймали голубя, обварили его кипятком и съели, он нашел это невозможным (impossible). В связи с этим м-р Винн выразил справедливое негодование по поводу варварства (barbarisme) и дикости этих людей. «Как можно», — заявил м-р Винн в частности, — пожирать грязных птиц, не при-

готовив их соответствующим образом и без необходимых приправ».

Когда м-ру Винну пытались объяснить, что эти люди были голодные, очень голодные, он в справедливом негодовании заметил, что никакой голод не может оправдать пожирания предметов, непригодных в пищу.

Сам м-р Винн, опять же справедливо, считал, что смог поддерживать свое здоровье на более или менее нормальном уровне только благодаря помощи, получаемой из дома в виде посылок и передач, либо пересылавшихся по почте, либо вручавшихся ему во время свиданий с женой или членами британского посольства — для этих свиданий Винна каждый раз отвозили на несколько дней в Москву.

К чести м-ра Винна нужно сказать, что ко всем описанным ужасам он относился стоически и всеми силами старался вести такой образ жизни, который бы во всех отношениях позволил ему — Винну — не упасть в собственных глазах. Главное же, что для этого было необходимо, — сохранять британскую респектабельность (respectability).

Он всегда поднимался точно по сигналу «подъем», хотя в больничном корпусе, где он содержался, это было не обязательно, обстоятельно занимался личным туалетом, каждый день брился (м-ру Винну, в порядке исключения, разрешалось иметь в камере собственную электробритву), завтракал, после чего облачался в приличный, специально сохраняемый в выглаженном состоянии костюм и принимался просматривать английские газеты и иллюстрированные журналы, опять же заботливо доставляемые ему из британского посольства в Москве. Занятия эти продолжались с перерывами на обед и прогулку до 16 часов, после 16 часов м-р Винн переоблачался в затрапез и позволял себе держаться вольно.

Так жил Гревилл Винн все восемь месяцев своего пребывания в тюрьме города Владимира, так он проводил каждый день, кроме воскресений и официальных праздников, в каковые дни он позволял себе прилечь среди дня, а также позволял себе почитать развлекательную литературу, ибо м-р Винн знал, что в упомянутые дни его никто не посетит, а также нельзя ожидать никаких других событий, которые могут как-либо коснуться его персоны.

Этот, несколько монотонный, я бы сказал, образ жизни м-ра Винна был обусловлен тем, что каждый день он (Винн) ждал

решительного изменения этого образа жизни, ибо он был совершенно уверен, что о нем помнят, что там о нем заботятся, что где-то и кем-то делаются запросы о его, м-ра Винна, участи, что где-то и кем-то ведутся настойчивые переговоры об изменении этой участи. Гревилл Винн не допускал никаких сомнений, о нет! — он твердо знал, что в случае необходимости «вся королевская конница, вся королевская рать» готовы встать на защиту его драгоценной персоны. Счастливый мистер Винн!

А вот Васе Хорошилову, Гречкину и многим людям — тем, кого по праву можно считать политзаключенными, и тем, кто был в этом качестве случайно, — нечего было ждать и не на что было надеяться. И никого не беспокоила их участь, и никто **никуда не обращался** по поводу их участи с запросами, и не было никакой конницы и никакой рати, которые могли бы за них заступиться — и они голодали и болели. И им, как правило, не оказывали никакой медицинской помощи, но зато часто сажали в карцер, надевали наручники и смиренные рубашки. И они умерли. Об их смерти были составлены соответствующие акты. По закону их, как говорится, «списали».

М-р Винн время от времени мог видеть этих людей, когда их проводили под окном его камеры № 31 во втором корпусе в баню или вели в наручниках в карцер на 4-ый корпус, т. к. часто случалось, что в 1-ом корпусе не хватало карцерных камер.

Да, Гревилл Винн видел этих людей в серо-коричневых полосатых униформах, изможденных, дикими, голодными взглядами как бы пронизывающих окна тюремной больницы — как каждому из них хотелось хоть бы на недельку попасть туда! — всегда небритых, т. к. в тюрьме не бреют, а обстригают бороды и усы машинкой раз в 10 дней во время бани, м-р Винн видел их и находил все это чудовишным (monstrous).

Что же касается меня, то я вполне согласен с м-р Винном в том, что условия, в которых он содержался в тюрьме № 2 города Владимира, были ужасны. Они были действительно ужасны, несмотря на то, что Винн не отбывал строгого режима, не переводился на пониженное питание, даже не содержался в обычной тюремной камере 1-го корпуса, а находился в больничной камере с приличной кроватью с пружинами и спал на простынях.

Эти условия были ужасны и несмотря на то, что Винн никогда не сидел в карцере, не ел общего тюремного пайка, т. е. никогда не был голоден до такой степени, когда мечтаешь уже не о бифштексе, а возможность хоть раз поесть досыта черного

хлеба расценивается как высшее блаженство. Не удивительно после этого, что Винн просто не мог понять, как это можно поймать простого дикого голубя (!) и, даже не сварив его как следует, без приправ съесть.

Эти условия были ужасны и несмотря на то, что посылки и передачи Винн получал практически в неограниченном количестве, а не две посылки в год, как остальные заключенные; несмотря на то, что получать письма Винн мог от кого угодно (имеются в виду его английские корреспонденты), в то время как другие заключенные могли получать письма только от ближайших родственников, указанных в «личном деле», а письма, приходившие на их имена от других лиц, как правило, пропадали неизвестно куда.

Но главное — это то, что Гревилл Винн был лишен свободы, состояния, необходимого человеку, был насильственно помещен в камеру с решеткой на окне, а не жил у себя в Челси с женой и сыном, должен был гулять, в бетонном дворике с натянутой над ним проволочной сеткой, один час, а не прогуливаться в лондонских скверах, не мог открыть дверь и выйти, когда и куда ему хочется, не мог сесть в трамвай, автомобиль или самолет, и ехать, лететь или плыть, когда и куда ему хочется, а находился под замком и под постоянным наблюдением днем и ночью, и обязан был подчиняться командам. Вот это и было действительно ужасным (terrible).

Я видел и лично знал заключенного Винна.

Я видел и лично знал заключенных Хорошилова В. и Гречкина — умерших — я с ними жил в одной камере.

Я видел и лично знал много других узников Владимирской тюрьмы — плохих и хороших, соответствующих высокому званию политзаключенных и людей случайных в этом качестве. Всех их здесь назвать невозможно, и не это является целью настоящего очерка.

Я хочу только одного, чтобы у вас создалось правильное представление о том, что же такое Владимирская тюрьма.

Я хочу, чтобы вы точно поняли, каковы условия в этой тюрьме и чем рисковали женщины-украинки, Зарицкая и Дидык, когда ухитрялись передавать тайком мне в камеру куски своего пайкового хлеба и помогали передавать записки в другие камеры.

Эти женщины находятся в заключении с 1947 года и для того, чтобы освободиться, от них требовалось только письменное заявление, осуждающее их убеждения и деятельность. То есть

от них требовали только лишь публичного предательства и ничего более, а за это обещали свободу. Сразу же.

Но эти женщины не вышли на свободу, не предали, и продолжают отбывать свой срок. Этот срок — двадцать пять лет.

Я хочу, чтобы вы поняли, что не так страшен факт того, что за малейшее нарушение режима, ну хотя бы за то, что вы прилегли на койку или резко ответили кому-нибудь из начальства, вас могут лишить права делать закупки в ларьке, не разрешить получить посылку, посадить в карцер, ударить, наконец, или надеть наручники — страшна привычная обыденность этого, страшно то, что к этому привыкаешь, как к нормальному образу жизни, а отсюда уже недалеко и до того, что человек начинает жить только ради обычных физиологических отправления. Это страшнее всего.

И поэтому, я говорю сейчас уже от имени всех узников, поэтому мы хотим, чтобы все знали о нас, чтобы вы помнили о нас, ибо мы не теряем Веры.

Мы не теряем веры в то, что наша жизнь имеет смысл.

Мы не теряем веры в то, что мы правы, и сознание этой правоты помогает нам жить в этих условиях. Жить по большому счету. Мы не боимся, что это будет звучать нескромно.

И я прошу вас, когда вы откроете свой туристский путеводитель на странице с описанием достопримечательностей города Владимира, вспомните о том, о чем не принято писать в путеводителях.

ВСПОМНИТЕ!

НЕ МЕЧОМ И КОПЬЕМ *)

(к аресту Владимира Буковского)

«Не мечом и копьем спасает Господь,
ибо это война Господа»

(I Книга Царств 17,47).

Война Господа идет во всем мире, во всей вселенной, на всем протяжении мировой истории, ибо не было такого времени, когда правда не боролась бы с ложью. Что это? — Арестовали священника? — спросит читатель, прочтя это вступление. Нет, не священника, — самого что ни на есть мирского человека. Так тогда сектанта, проповедника, религиозного фанатика? Нет, арестовали несверяющего человека. Так к чему тут библейский эпитафия и высокопарное вступление? Ответом на эти вопросы могла бы быть биография арестованного Владимира. Но вряд ли.

Уж очень она коротка.

Владимир Буковский родился 30 декабря 1942 г. Следовательно, сейчас ему 28 лет. Из этих 28 лет — один год учебы на биологическом факультете в Московском университете и 6 лет мытарств по тюрьмам и сумасшедшим домам. 1 год и 2 месяца на воле. 29 марта 1971 г. — новый арест. Такова биография, биография трагическая и краткая. Что же скрывается за ней?

Когда умер папа Лев XIII, знаменитый французский писатель, влюбленный в биологию и уверенный, что личность — это комбинация наследственных признаков, написал следующие слова: «Покорный папа был замечательным человеческим типом». Эти слова Эмиля Золя приходят мне на ум каждый раз, когда я думаю о Буковском. И не мне одному. В 1967 г. следователь, закончив дело о демонстрации, главным инициатором которой был Владимир, сказал: «Если бы я мог выбирать сына, я выбрал бы Буковского». Великолепен он даже внешне. Высокий, прекрасно сложенный, шатен, лицо простодушного деревенского парня — открытое, мужественное, русское лицо. Легкая, танцующая походка, четкие дви-

*) *Последняя статья А. Краснова-Левитина, написанная до суда, приговорившего его в апреле месяце к трем годам концентрационного лагеря.*

Ред.

жения, слова все свои, ничего заимствованного, чужого, выставленного напоказ. Храбрость! Однако, никакой аффектации. Ему никогда, вероятно, не приходилось преодолевать страха. Он ему просто неведом и, вероятно, непонятен.

В этом я всегда завидовал ему. Воля. Концентрированная, нестигаемая, непреклонная. Но никакого упрямства. Наоборот, в быту он уступчив, легок, неприхотлив. Абсолютный бессребреник. Именно в то время, когда появился в «Правде» подвал, где Буковского обливали грязью и говорили, что он получает деньги у иностранцев... именно в это время у него часто не бывало 5 копеек на метро. Денег у него не было никогда, но он любил их давать. «Не знаешь ли, Володя, у кого можно занять 5 рублей?» — спросил я его однажды. «Я могу», — с какой-то детской важностью сказал Володя и протянул мне последнюю пятерку.

Резкий и смелый, когда речь идет о защите идейной позиции, Владимир до странного мягок, когда имеет дело с личным врагом. Он принял у себя дома 2 месяца назад парня, который дал на него ужасные показания в 1967 году. По мнению Владимира, личная месть была бы недостойна.

Он хорошо воспитан и имеет хорошие манеры (этим он обязан своей высоко-культурной матери), но в то же время удивительно быстро находит общий язык с людьми из народа, с людьми негуманитарными, с люмпенами, с лагерниками, все они считают его «своим в доску».

Кто он все-таки и почему так трагически сложилась его биография? Он родился в 1942 году, следовательно, ему было 10 лет, когда шел 1952 год. Быть может, самый ужасный после 1937-го год русской истории. В этом году, как в фокусе, отразился весь ужас, вся гниль сталинского самовластия, сервиллизм и подхалимство литературы, наглость и лживость официальной пропаганды, трусость интеллигенции — все достигало своего апогея.

Бывают характеры: приспособляющиеся, пружинистые, мягкие. Бывают характеры: легко ранимые, травмируемые, нежные, бьющиеся, как стекло. И бывают характеры резкие, упругие; гонения их только закаляют подобно железу. Из первых выходят дипломаты, карьеристы, дельцы. Из вторых — поэты, невропатологи, истерики, а иногда и просто салонные болтуны. Из третьих — революционеры-борцы.

Владимир — несомненный борец. Он и революционер, хотя и очень не любит этого слова и никогда не признавал себя таковым. Во всяком случае еще на школьной скамье он очень тонко

чувствовал фальшь, — и иронически улыбался; его возмущала всякая несправедливость, и он смело протестовал против нее; он не мог видеть унижения человека и не броситься на помощь. На этой почве он иногда имел сильные недоразумения со школьной администрацией. Владимир — не теоретик, не мечтатель, он — практик. Может быть, поэтому он по окончании школы избрал себе не гуманитарную (как у его родителей), а весьма практическую специальность. Он занимался ею лишь один год, во время учебы в университете, а потом в тюрьме и в лагере, когда была возможность. Но даже в этих отрывочных занятиях проявлялась необыкновенная одаренность Владимира. По отзывам специалистов, посвяти он себя целиком биологии, из него вышел бы крупный ученый.

Но не это стало призванием Владимира. Эпиграфом к этой статье мы избрали библейские слова. В Книге Царств их произносит юноша Давид, пастух и певец, неожиданно превратившийся в воина. И произносит он их перед тем, как вступить в битву с Голиафом.

Владимир был в 19 лет именно таким богато одаренным, смелым, глубоко верующим в свое дело юношей. Что это, однако, было за дело и кто был тот Голиаф, с которым он решился вступить в бой? Как ухватится за эти строки следователь или прокурор и как быстро и категорически он ответит: «Голиафом Владимира была советская власть». И в день ареста Владимира кто-то из милиции именно так сказал девушке, случайно оказавшейся при его аресте. Что ответим на это утверждение мы? Мы ответим: «Нет» и еще раз «нет».

Голиафом, с которым вступил в борьбу Владимир, был не тот или иной режим, — а несправедливость, произвол, беззаконие, откуда бы они ни исходили. И в этом смысле Владимир является типичнейшим представителем того гуманистического демократического движения, которое возникло в последнее десятилетие среди русской интеллигенции и которое с каждым годом все ширится и набирает силу. Владимиру, как и всем нам, не нужны ни фабрики, ни заводы, ни деньги (он и цвета-то их не знает и в руках держать не умеет), — ему, как и всем нам, нужна свобода и справедливость, справедливость и свобода.

Буковский никогда не писал, насколько мне известно, стихов, хотя он автор нескольких очень талантливых рассказов. Но его общественная деятельность началась с поэзии. В 1961 году, по вечерам, у памятника Маяковскому собиралась молодежь читать стихи. Чего бы, кажется, естественнее и проще? Но и такое простое

дело организовать оказалось нелегко. Уж слишком отвыкли люди в сталинскую эпоху от всякой нерегламентированной деятельности. Организовали это дело трое студентов: Юрий Галансков, Владимир Осипов и третий — Владимир Буковский. Весть о вечерах у памятника Маяковскому пронеслась по Москве, молодежь повалила валом. Привлекли они и неблагосклонное внимание консерваторов. В 1963 г. собрания у памятника были разогнаны, инициаторы этих сборищ поплатились свободой. 1 июня 1963 г. — новый арест Буковского. На этот раз за печатание книги Джиласа «Новый класс». После ареста и суда Владимир был переведен в Ленинград, в тюремную психиатрическую больницу, помещавшуюся в бывшей женской тюрьме, на Арсенальной улице. В ужасной атмосфере, среди сумасшедших, провел он 1 год и 4 месяца — с ноября 1963 по 26 февраля 1965 г.

Если можно себе представить тип наиболее уравновешенного, гармоничного человека, — то это Владимир. Я никогда не видел его вышедшим из себя, произносящим какие-либо необдуманные слова, действующим в состоянии аффекта. Я никогда не замечал в нем ни малейшей «маниакальной одержимости». Он человек широкий, спокойный, обладающий чувством юмора. Всякая экстравагантность ему органически чужда, как совершенно чужда пошлость, грубость, задиристость. Если он сумасшедший, то следует признать сумасшедшими 99,9 % всех окружающих нас людей. Владимир, однако, не только был признан сумасшедшим услужливыми психиатрами, — он был первым или одним из первых, признанным сумасшедшим по политическим мотивам.

Откуда, однако, взялся этот новый метод в расправе с политическими противниками?

В разгар борьбы с культом личности Никита Хрущев не раз заявлял, что в СССР нет ни одного политического заключенного. И действительно, с 1956 по 1959 год их не было или почти не было. Когда же они все-таки стали появляться, то Хрущев ничего лучшего придумать не мог, как объявить их сумасшедшими, — и вот тысячи религиозных людей, юношей, выступавших с критикой темных сторон действительности, коммунистов, недовольных половинчатостью и самодурством главы тогдашнего правительства, попали в сумасшедшие дома. Таким образом, знаменитая серия хрущевских анекдотов пополнилась еще одним анекдотом (*). Жаль толь-

(*) При Сталине этот метод также изредка применялся, однако, только к наиболее известным деятелям. В широком масштабе он стал применяться в хрущевские времена.

ко, что испытать этот анекдот пришлось на себе живым людям. Владимир был одним из таких людей. И только такой абсолютно душевно здоровый человек, с железными нервами, как Владимир, мог пробыть в такой атмосфере почти полтора года и не свихнуться. Однако, он приобрел в сырых камерах тюрьмы-больницы ревмокардит, болезнь, которой он страдает до сих пор. Освобожденный в феврале 1965 г., он в сентябре 1965 г. вновь попадает в заключение, — за попытку помочь арестованным писателям Синявскому и Даниэлю. Начинается «учебный год»: время с сентября 1965 по июль 1966 года Владимир проходит в кочевке по сумасшедшим домам; за это время он переменял 3 сумасшедших дома: в Люблино, Столбовой, институте им. Сербского. Он вышел и на этот раз крепким, сильным, здоровым духовно.

С этого времени начинается мое знакомство с ним. Летом 1966 г. гонения на почаяевских монахов достигли апогея, и я обдумывал, как им помочь. Я обратился к В. К. Буковскому с просьбой съездить в Почаев. И хотя эта поездка не состоялась, но знакомство с Владимиром произвело на меня сильное впечатление. Уж очень он отличался от неврастенической, безалаберной, разбросанной молодежи из СМОГа. Затем мы встречались с Владимиром еще несколько раз. И, наконец, я увидел его в «деле» — во время организации 22 января 1967 г. демонстрации на Пушкинской площади в защиту арестованных Галанскова, Добровольского, Лашковой и Радзиевского. Здесь не место говорить о делах Владимира (это дело будущих историков). Скажу только, что слово «талант» звучит слишком слабо, когда речь идет о его организаторских способностях.

Через несколько дней после демонстрации Владимир был арестован. На этот раз объявить его сумасшедшим оказалось слишком даже для наших психиатров.

Он был признан вменяемым, и 31 августа-1 сентября над Буковским, Делоне, и Кушевым состоялся суд. Я был на суде в качестве свидетеля и мне посчастливилось присутствовать при произнесении Владимиром его двухчасовой речи на суде 1 сентября 1967 года.

Речь эта была записана и широко распространялась в свое время. Я ее здесь цитировать не буду. Укажу только на то, что речь эта — одно из самых сильных впечатлений моей жизни. Дело тут не только в том, что Буковский — один из самых замечательных ораторов, которых я слышал (и это говорит много лет работавший с митрополитом Александром Введенским, слышавший в дет-

стве Троцкого, в юности Михоэлса и знавший лично почти всех замечательных проповедников своего времени, а в 20-х, 30-х годах их было немало). Самое главное — это то впечатление силы, уверенности в своей правоте, несгибаемой воли и достоинства, которые производил Буковский на суде. Содержание речи характеризует его мировоззрение.

Владимир выступал как сторонник строгой законности, гуманистических принципов, соблюдения справедливости. Он был осужден к 3 годам лагерей и вышел на волю лишь в январе 1970 г., когда я находился в заключении. Я увидел его лишь в сентябре прошлого года и виделся с ним почти ежедневно по самый момент его ареста. Я, конечно, не знаю, что именно ставится в вину Буковскому. Однако, я совершенно уверен, что во всей его деятельности нет ничего криминального. Он думает лишь о правах людей, о торжестве законности, о борьбе против всякого проявления произвола. Он отдает всю жизнь борьбе за правду, помощи страдающим людям, и в этом смысле он, неверующий, в тысячу раз ближе к Христу, чем сотни так называемых «христиан», христианство которых заключается лишь в том, что они обивают церковные пороги. И я, христианин, открыто заявляю, что преклоняюсь перед неверующим Буковским, перед сияющим подвигом его жизни.

**

В январе 1970 г., во время закрытия моего дела в Сочи, у меня произошел следующий разговор со следователями Акимовой и Шатовым (при этом разговоре присутствовал и мой адвокат А. А. Залесский). Я сказал следующее: «Мой арест напоминает мне известное изречение Тайлера по поводу зверского убийства Наполеоном герцога Энгийенского: это было хуже, чем преступление, это была глупость. В тюрьме я много опаснее для моих врагов, чем на воле. Если же вы уморите меня в лагерях, тогда еще хуже: я буду еще опаснее».

Это относится и ко всем арестам по политическим и религиозным мотивам последних лет. Прежде всего они не достигают цели: они лишь создают мученический ореол вокруг ряда лиц и этим увеличивают их популярность. Так будет и с Буковским. Следовательно, хорошо, что он арестован? Да, так в теории, но не так в жизни.

Буковский — исключительная, героическая личность. Крупнее его в настоящее время в России, может быть, никого нет. Но

он — человек. И прежде всего человек, с нервами, с сердцем, с живой человеческой плотью и кровью. И у него есть мать.

Что должна чувствовать мать? Я могу лишь приблизительно представить себе это по той щемящей боли, которую я чувствую, когда думаю о том, что Владимир в тюрьме. Если я так чувствую, что же должна чувствовать сейчас мать? Какой ад у нее в душе! И поэтому я обращаюсь ко всем, от кого это зависит — не делайте лишней жестокости, освободите отважного молодого витязя — замечательного русского человека. Это будет больше, чем справедливый поступок — это будет государственная мудрость и это будет первый шаг к примирению с молодыми демократическими силами России, шаг, который будет должным образом оценен.

Я обращаюсь ко всем моим друзьям и читателям: присоединитесь к моему требованию об освобождении Владимира Буковского. И я твердо верю, что увижу его свободным и его гуманистические идеи торжествующими, ибо «не мечом и копьём спасает Господь, ибо это война Господа».

7 апреля 1971 года

Благовещение Пресвятой Богородицы

Открытое обращение.

Президенту США Р. НИКСОНУ
Председателю Президиума Верховного Совета СССР
Н. М. ПОДГОРНОМУ.

Господин Президент!

Я узнал из газет о письме в защиту Анджелы Дэвис, направленном на Ваше имя группой советских учёных — членов американских академий. Являясь членом Американской академии наук и искусств, я присоединяюсь к ходатайству своих коллег в защиту жизни американского учёного. Надеюсь, что американский суд рассмотрит дело Дэвис в обстановке полного беспристрастия.

Надеюсь также на гуманность американского суда.

Товарищ Председатель Президиума Верховного Совета!

Я узнал о суде в Ленинграде над группой лиц, обвинённых в попытке использования самолёта для вылета из СССР. Я осуждаю эту противозаконную попытку, но прошу учесть смягчающие обстоятельства. Прошу учесть, что план пленения лётчиков на земле не угрожал ничьей жизни. В особенности необходимо учесть, что причиной попытки осуждённых явилось ограничение властями законного права десятков тысяч евреев, желающих покинуть страну. Я категорически отрицаю обвинение в измене Родине, как не имеющее отношения к деянию осуждённых.

Суд в Ленинграде присудил двух обвиняемых — Дымшица и Кузнецова — к расстрелу, 9 других — к длительным срокам заключения. Товарищ Председатель! Не допустите расстрела Дымшица и Кузнецова. Это было бы неоправданной жестокостью. Смягчите наказание другим обвиняемым.

Господин Президент,

товарищ Председатель Президиума Верховного Совета!

Я надеюсь на Вашу личную гуманность, на учёт высших интересов человечества. Казни и суровые репрессии не свидетельствуют о силе государства, не способствуют интересам международного мира, демократии, терпимости, справедливости и правопорядка.

Я призываю свободолюбивых людей в США, в СССР, во всем мире выступать против несправедливости, террора, угнетения, где бы они ни имели место.
28 декабря 1970 г.

Академик А. Д. Сахаров

Международная телеграмма

Вашингтон
Правительство США

Доктору Андрею Сахарову
Институт физики им. Лебедева
Академии Наук СССР
Ленинский проспект, 53
Москва

Президент Никсон просил меня ответить на ту часть Вашего письма от 28 декабря, в которой Вы присоединяетесь к обращению д-ра Петра Капицы и других советских ученых в защиту д-ра Анджелы Дэвис. Д-р Дэвис обвиняется штатом Калифорния в серьезном преступлении. Я могу заверить Вас, что ее ожидает такое же беспристрастное отношение американской судебной системы, как и любого другого обвиняемого в преступлении. Ее права на справедливое судебное рассмотрение и на защиту компетентным адвокатом будут полностью обеспечены. Мы также ожидаем, что в соответствии с обычной процедурой нашей страны слушание дела д-ра Дэвис будет происходить в открытом заседании суда и будет полностью освещено представителями американской и международной прессы.

Как Вы, возможно, уже знаете, в моей телеграмме д-ру Капице от 28 декабря по этому поводу я предложил содействовать его приезду и приезду его коллег в Соединенные Штаты для того, чтобы присутствовать на слушании дела д-ра Дэвис. Разумеется, такое содействие я готов оказать и Вам, если Вы того пожелаете.

Мартин Хилленбранд,

помощник государственного секретаря по европейским
делам Государственного Департамента

Председателю Президиума Верховного Совета СССР
Н. В. Подгорному

Не допустите убийства Кузнецова и Дымшица.
Вы должны понимать, что крайняя необходимость была при-

чиной их попытки нарушить закон — пока людей насильно удерживают в стране, государство не гарантировано от подобных попыток.

Отпустите всех, кто хочет уехать.

Признайте право евреев на репатриацию.

Казни и запугивание не свидетельствуют о силе государства.

27. 12. 70.

В. Н. Чалидзе
А. С. Вольпин
А. Н. Твердохлебов
Б. И. Цукерман
Л. Г. Ригерман

ИЛЬЯ РИПС

Как известно читателям, Илья Рипс, необыкновенно одаренный 20-летний математик, 13 апреля 1969 года вышел на площадь Свободы в Риге с плакатом "Протестую против оккупации Чехословакии" и поджег на себе одежду, предварительно залитую бензином. Находившиеся здесь моряки быстро погасили огонь, но жестоко избили юношу. Ожоги оказались незначительными. Илья Рипс был посажен в тюремную психобольницу.

ДОКУМЕНТЫ К БИОГРАФИИ ИЛЬИ РИПСА

- 1962 г. 25 апреля. ДИПЛОМ.
Министерство просвещения Латвийской ССР награждает ученика 7-го класса 23-й средней школы г. Риги Рипса Илью, занявшего 1-е место на 12-й республиканской математической олимпиаде среди учащихся 9-х классов. Зам. министра просвещения.
- 1963 г. 25 апреля. ДИПЛОМ.
Министерство просвещения Латвийской ССР награждает ученика 23-й средней школы г. Риги Рипса Илью, занявшего 1-е место на 13-й республиканской математической олимпиаде среди учащихся 11-х классов. Зам. министра просвещения.
(Примечание. Илья Рипс учился в 9-м классе, в который был переведен сразу из 7-го после сдачи экзамена за 8-й).
- 1963 г. 25 сентября. ПОХВАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ второй физико-математической олимпиады европейской части СССР и Закавказья. (Проводимой Московским физико-техническим институтом и МГУ).
Жюри олимпиады награждает настоящим похвальным отзывом ученика 9-го класса 23-й школы города Риги Рипса Илью Ароновича. Председатель жюри олимпиады профессор В. А. Ильин.

4. 1963 г. 31 октября. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА на ученика 11-го класса 23-й средней школы г. Риги, проходящего производственную практику со 2 сентября 1962 г. по 31.X.63 г. в Институте физики Академии наук Латвийской ССР РИПСА Ильи Ароновича.

За время прохождения практики Рипс И. А. обучался в лабораториях магнитной гидравлики, теоретической физики.

Изучил теоретический курс по основам программирования. Получил практические навыки в вопросах номографии, составлении программ и проведении расчетов на БЭСМ-2. Самостоятельно составил и отладил несколько программ, в том числе программу для нахождения собственных значений и собственных функций дифференциального оператора.

Рипс И. А. проявил прекрасные математические способности и неожиданно хорошее знание основ высшей математики.

Дисциплина отличная, имеет несколько благодарностей со стороны руководства Института физики.

Квалификационная комиссия решила: присвоить Рипсу И. А. квалификацию лаборанта-программиста с общей оценкой — отлично.

Директор института физики И. М. Кирко.

5. 1964 г. 15 апреля. ГРАМОТА Всероссийской физико-математической олимпиады учащихся восьмилетних и средних школ.

Настоящей грамотой награждается Рипс Илья, ученик 11-го класса 23-й школы г. Риги Латвийской ССР, получивший вторую премию. Председатель оргкомитета Олимпиады, член-корреспондент АН СССР И. Шафаревич.

6. 1964 г. 16 апреля. ДИПЛОМ.

Министерство просвещения Латвийской ССР награждает ученика 23-й средней школы г. Риги Илью Рипса, занявшего 1-е место на республиканской физической олимпиаде среди учащихся 11-х классов. Министр просвещения.

7. 1964 г. 16 апреля. ДИПЛОМ.

Министерство просвещения Латвийской ССР награждает ученика 23-й средней школы г. Риги Илью Рипса, занявшего 1-е место на республиканской математической олимпиаде среди учащихся 11-х классов. Министр просвещения.

8. 1964 г. 30 июня. ХАРАКТЕРИСТИКА ученика 11-а кл. 23-й средней школы гор. Риги Рипса Ильи Ароновича, рождения 1948 года, члена ВЛКСМ с 1962 г.

Рипс Илья занимался в данной школе в течение шести лет, начиная с 4-го класса. За период пребывания проявил незаурядные способности, поэтому экстерном сдавал за 8 кл. и 10 кл., окончил курс полной средней школы всего за 9 лет. Занимался на протяжении всех лет учебы только на "отлично" по всем учебным дисциплинам, имеет по всем предметам глубокие, прочные знания, далеко выходящие за курс средней школы. Много читал дополнительной литературы. Особенно интересовался физикой и математикой, знания по которым соответствуют знаниям студентов за 2-3 курс технических вузов. Был

постоянным участником всех городских и республиканских олимпиад по физике и математике и, будучи учеником 9-го кл., занял первые места по физике и математике в этих олимпиадах за курс 11-го класса.

В апреле 1964 г. был участником Всероссийской олимпиады по математике в Москве, заняв второе место. По окончании средней школы направляется снова в Москву для участия в Международной математической олимпиаде от Латвийской ССР.

Илья оставался очень скромным, трудолюбивым, дисциплинированным учеником, охотно помогавшим товарищам по классу, несмотря на такие блестящие успехи в учебе.

Принимал активное участие в работе математического кружка в школе, а также в общественной жизни комсомольской и пионерской организаций. Систематически читает газеты, часто выступал с докладами по истории и обществоведению, активно участвовал во всех политинформациях.

Практику проходил в Институте физики, показал отличные успехи и получил специальность лаборанта-программиста.

По характеру Илья очень застенчив, с товарищами всегда дружен, с учителями вежлив и почтителен.

Илья очень настойчив и требователен к себе, умеет работать самостоятельно с книгой.

Илья отлично сдал экзамены на аттестат о среднем образовании и закончил школу с Золотой медалью.

Педагогический Совет школы рекомендует Рипса Илью для зачисления в Математический вуз.

Директор школы Н. Алиева, г. Рига, 30 июня 1964 г.

9. 1964 г. 17 ноября. "ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ СТУДЕНТ". Статья в газете "Ригас Балс".

Со школьной скамьи Илья Рипс страстно увлекся математикой и участвовал в республиканских и всесоюзных математических олимпиадах, на которых всегда занимал призовые места. 23-ю среднюю школу Илья окончил с золотой медалью и был без экзаменов принят на первый курс физико-математического факультета ЛГУ им. П. Стучки. Первокурсник Рипс активно участвует в семинарах вместе со студентами старших курсов. Его часто можно встретить и в вычислительном центре университета. О больших математических способностях Ильи Рипса с теплотой отзываются руководитель группы вычислительного центра Э. Гринберг и доцент М. Гольдман.

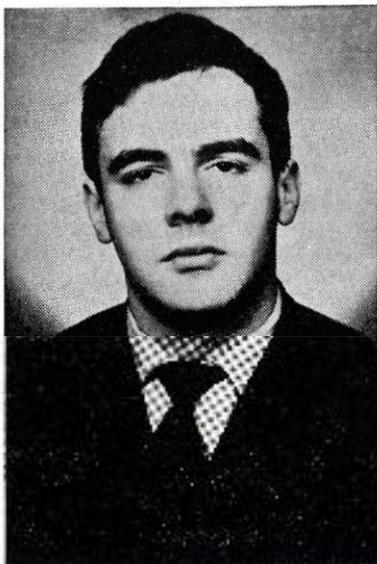
Интересно отметить, что Илья Рипс стал студентом в пятнадцать лет.

10. 1968 г. 28 августа. ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА рядовому РИПС И. А. за отличную сдачу выпускных экзаменов по военной подготовке и примерную воинскую дисциплину в период прохождения учебных сборов. Командир войсковой части 16767 полковник ДРОЗД.

11. 1968 г. 29 ноября. ДИПЛОМ 1-й степени министерства высшего и среднего специального образования Латвийской ССР.

Студенту V курса физико-математического фак. ЛГУ им. П. Стучки Рипсу И., занявшему 1-ое место во 2-м республиканском конкурсе

на лучшую студенческую научную работу, посвященном 50-летию ВЛКСМ и 50-летию установления советской власти в Латвии.
Зам. министра.



И. А. Рипс

Фото
Ю. Куприянова

12. 1969 г. 28 января. "ЛАТВИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИВЕРСИТЕТУ — 50 ЛЕТ" — подборка в газете "Ригас Балсс". "У старта науки и практики". (Выдержка).

В университете проведен предъюбилейный смотр работ членов СНО. И на этом смотре, и на республиканском конкурсе первая премия была присуждена студенту физико-математического факультета Илье Рипсу. Но математика, действительно, такая наука, о которой просто не расскажешь. Для неспециалиста и название работ юного математика ничего не откроет. Обратились за помощью к председателю жюри доценту т. Энгельсону.

— Как бы это доступно выразить, — задумался т. Энгельсон. — Скажем, так: Илья Рипс занимается абстрактными областями современной алгебры. И в его работе построен пример, имеющий важное теоретическое значение. Недавно американский математик Дарк поставил интересную математическую проблему. Но он решает ее в очень частном виде. А наш студент сумел решить эту проблему в общем виде. Работа Рипса была рассмотрена академиком Новиковым и представлена им для публикации в журнале "Доклады Академии наук СССР". Должен сказать, что за прошедшие со дня подачи работы два месяца Илья Рипс разработал еще более совершенный вариант решения этой проблемы.

А всего-то эта работа — пять листочков машинописного текста с формулами...

ОПУБЛИКОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ ИЛЬИ РИПСА

1. Обобщение теорем Л. А. Калужнина и Ф. Холла на некоторые классы луп. И. А. Рипс ЛГУ им. Стучки. Латвийский математический ежегодник, 2. Рига, 1966, стр. 283.
2. И. А. Рипс. Два предложения о беровских группах. (Представлено академиком П. С. Новиковым 14.XI.1968). Доклады Академии наук СССР. Том 186, № 2, 1969, стр. 264.

В Верховный Совет депутатов
трудящихся СССР.

ОБ ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Я не политик и не юрист, но для того, чтобы иметь и выражать собственное мнение по общечеловеческому вопросу, не обязательно быть ни тем, ни другим: достаточно сознавать себя гражданином. Соответственно, и обращение мое в Верховный Совет — гражданское.

В юридической литературе говорится о том, что в нашей стране применение смертной казни — явление не вечное, что этот вид наказания лиц, преступивших закон, со временем отменится. Со временем? Но когда? Проблема настолько серьезна, что откладывать рассмотрение ее на неопределенное будущее — значит проявлять равнодушие. — И не к одним лишь тем, кто ожидает приговора, но и к вершащим правосудие.

Наказание преступника полностью лишь тогда, когда преступник может перенести, пережить его, сделать соответствующие выводы. Каждый человек должен иметь право на исправление себя. — Смертной казнью он лишается этого права. Подчеркиваю — именно **этого**, потому что за ним остается право на реабилитацию: в случае судебной ошибки. Но что даст человеку реабилитация, если она посмертна?! Судебная ошибка, приведшая его к смерти, является уже не чем иным, как судебным преступлением.

Подумайте также и о судьях. Судебные ошибки можно списать с рук, но нельзя списать с человеческого сознания, с человеческой совести.

Настоящий судья, как бы ни был он уверен в правоте своего решения, должен оставлять какую-то свободу за будущим: а вдруг выяснятся новые обстоятельства дела, вдруг окажется, что приговоренный и не преступник-то вовсе или что само преступление носило иной — менее тяжелый характер! Пусть этот судья оставит за приговариваемым спорное право не на формальную, а на действительную реабилитацию.

Судья, взявшийся безоговорочно решить вопрос о чьей-либо смерти, — разве не перестает он быть судьей, разве не превращается во всемогущего властелина? Правда, судьи контролируют друг друга, но ведь и коллективные ошибки возможны! (Вряд ли нужно приводить примеры.)

Позволяя кому-то, пусть самому избранному из нас, повластно и окончательно распоряжаться жизнями окружающих, мы развращаем человека. Право, подобная работа воспитывает не только его самого, но — через него — и окружающих.

А люди, приводящие смертный приговор в исполнение?! Даже если автоматизировать процесс казни, — разве не останется «наладчик аппаратуры» палачом? Останется. Мало того, его палаческая психология еще больше извратится, сделается утонченной. Страшно представить себе, что этот человек отправится со своим ребенком в кинотеатр или в зоопарк, — повеселятся они там, фильм посмотрят или на лошадке покатаются, а палаческий дух исподволь, на первый взгляд незаметно, будет действовать на ребенка. Страшно подумать о том, что у палача вообще могут быть дети!

Слышалось, правда, что смертная казнь необходима, как высшая мера социальной защиты. Но от кого защищаться? От разоруженного, находящегося под стражей человека? С моей точки зрения это попросту нелепо.

Еще говорят, будто страх перед смертной казнью может остановить лиц, склонных к совершению особо тяжких преступлений. Казни, однако, были и есть, а что до преступлений — то и они налицо.

Безусловно, мера — жестокая. Великий английский философ — Фрэнсис Бэкон написал однажды: «Жестокость в глазах доброго человека всегда кажется басней или трагическим вымыслом». Да, доброе сердце воспримет казнь незнакомого человека как басню. Но только лишь доброе. У других же людей появится страх. Однако людей нужно обращать не страхом.

Понимаю, что не в пять минут и не за две недели проблема смертной казни может быть решена окончательно. Однако, зачатая ею нужно без промедления.

Убедительно прошу ответить на мое письмо.

23 декабря 1970 г.

Владимир Лапин

Обратный адрес: Москва, К-51,
Рахмановский пер., 4, кв. 20,
Лапин Владимир Петрович.

Стойте в одном духе, подвизаясь единомысленно за веру евангельскую (Фил. 1:27).

БРАТСКИЙ ЛИСТОК

ИЮНЬ-ИЮЛЬ

1970 № 6 - 7

Год издания шестой

СОВЕТ ЦЕРКВЕЙ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

«Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Откр. 21:7

Дорогая и возлюбленная Церковь Божия!

Мир тебе, испытываемая многими скорбями, но силою Божией соблюдаемая ко спасению. Омытая кровью Христа и хранимая в верности среди суровых испытаний, ты готовишься к долгожданной встрече со своим небесным женихом. И эта радостная встреча все ближе и ближе...

«Посему мы не унываем, если внешний наш человек и тлеет то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» 2 Кор. 4:16-17.

Великий Бог, Отец милосердия и всякого утешения да утешит Ваши сердца и да утвердит Вас во всяком слове и деле благом 2 Кор. 1:3.

Сообщаем Вам, дорогие братья и сестры, что нами направлено ходатайство на имя Председателя Совета Министров СССР Косыгина А. В. о пресечении противозаконных действий Совета по делам религии и местных органов власти по отношению к Тульской Церкви ЕХБ и к брату Владыкину Н. И. — хозяину молитвенного дома (ул. Краснодонцев № 14), при котором находится братская комната совещаний Совета Церквей.

Тульской Церкви ЕХБ (в кол-ве верующих около 400) после подачи заявления по установленной форме было отказано в законной регистрации, а затем со стороны органов местной власти последовали угрозы о разрушении или конфискации молитвенного дома, а сам брат Владыкин был уволен с работы. Просим всех братьев и сестер, любящих Господа и дело Его, молиться о Тульской церкви.

Церковь ЕХБ в г. Ростове н/Д. уже длительный период подвергается всесторонним гонениям. В квартирах и домах многих

верующих были проведены обыски с изъятием религиозной литературы. Богослужбные собрания нарушаются и разгоняются представителями органов власти.

В сентябре 1969 г. был арестован, а затем и осужден к 3 годам лишения свободы пресвитер Ростовской Церкви Рогожин Дмитрий Степанович, а 7 июля 1970 г. арестован второй пресвитер Ростовской Церкви 76-летний Жовмирук Василий Дмитриевич (брат Жовмирук уже отбыл четыре срока лишения свободы за Слово Божие). В тот же день арестованы: служитель Ростовской Церкви Шостенко Григорий Федорович и член Ростовской Церкви Рогожин Александр Стенанович (брат узника-пресвитера Рогожина Д. С.).

Господь да укрепит Ростовскую Церковь и ее узников сохранить верность Христу до конца. Будем молиться о Церкви Божьей в г. Ростове. Еф. 6:18, 19,20.

7 июля 1970 г. в г. Кишиневе состоялся суд над пресвитером Кишиневской Церкви ЕХБ братом Хоревым М. И. Брат был арестован в декабре 1969 г. после проведенного с разрешения органов власти Всесоюзного совещания служителей Церквей ЕХБ в г. Туле. За день до суда жене брата Хорева было объявлено администрацией тюрьмы, что ее муж болен, а на следующий день (7 июля) был проведен суд (с 12 час. до 21 часа). Без оповещения жены, родственников, на закрытой территории завода электрохолодильников, куда вход только по пропускам. Свидетелей на суд брали из дома рано утром до выхода на работу или прямо с работы. Жена брата Хорева после долгих поисков попала на суд только после 16 часов. Брат Хорев М. И. приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима по ст. 142. Это уже второй срок, который отбывает брат за верность служения Господу.

Будем помнить посланников Христовых в узах (Евр. 13:3) и постоянно приносить их в молитвах пред Небесным Отцом.

Сообщаем также о гонениях, переносимых Киевской Церковью ЕХБ. Киевская Церковь ЕХБ после некоторого затишья снова подвергается гонениям со стороны органов власти. Несмотря на то, что Киевская Церковь подала заявление на регистрацию по установленной форме, городские власти не только не регистрируют Общину, но требуют полного прекращения богослужбных собраний; работники милиции грубо нарушают и разгоняют богослужения, прокуратура города производит обыски в квартирах верующих и готовит уголовное дело против некоторых членов Киевской

Церкви, в том числе подготавливается новое уголовное дело и против Секретаря Совета Церквей брата Винса Г. П.

Будем молиться о Киевской Церкви!

В г. Шостка Сумской области, после подачи заявления на регистрацию, были проведены в июле м-це 1970 г. массовые обыски в домах верующих с изъятием Библий, Евангелий, Сборников духовных песен, религиозных журналов и др. духовно-издательской литературы.

Будем молиться и о детях Божиих в г. Шостка.

Дорогие братья и сестры!

В трудных условиях Церковь Божия совершает своё служение Господу, стремясь сохранить верность Небесному Жениху. Господь по своей великой любви и милосердию посылает обильные благословения. Нам сообщают о духовных благословениях, пережитых многими поместными церквями в дни трехдневного общецерковного поста и молитвы перед праздником Св. Троицы! А в день Св. Троицы во многих церквях богослужбные собрания сопровождались обращением грешников ко Христу!

В июне-июле м-це во многих местах через водное крещение вновь уверовавшие во Христа, присоединились к церкви. Торжественные исповедания веры и обещания служить Господу в доброй совести прозвучали над тихой гладью живописных озер и рек. Свидетели этому Небо и многострадальная Церковь Христова, которая взамен сотен братьев и сестер, совершающих посольство в узах, получает новых сынов и дочерей, рожденных Духом Святым в годы суровых испытаний!

«Итак, братья, мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд Ваш не тщетен пред Господом!» 1. Кор. 15:58.

Правительству СССР

Председателю Совета Министров СССР т. Косыгину А. Н.
Председателю Верховного Совета СССР т. Подгорному Н. В.
Генеральному Прокурору СССР т. Руденко Р. А.
Генеральному Секретарю ЦК КПСС т. Брежневу Л. И.
Первому Секретарю ЦК Компартии Белоруссии
Прокурору Республики Белоруссии
Заместителю генерального секретаря ООН

В. Н. Кутакову Москва, Кремль

Совету Церквей ЕХБ
Всем верующим христианам ЕХБ, проживающим в СССР

От Совета родственников узников, членов
Церквей Евангельских христиан баптистов,
страдающих за слово Божие в СССР.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ

«Я Господь, проникаю сердце и испытываю
внутренности, чтобы воздать каждому по пути
его и по плодам дел его» (Иеремии 17:10).

«Ибо очи Мои — на всех путях их; они не
скрыты от лица Моего, и неправда их не сокры-
та от очей Моих» (Иеремии 16:17).

«Не медлит Господь исполнением обетования...
но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб,
но чтобы все пришли к покаянию» (2 Петр. 3:9)

Сообщаем Вам о серьезнейшем беззаконии, совершающемся
в Белоруссии в настоящее время. В чрезвычайно тяжелом состоя-
нии физического здоровья находится верующий член ЕХБ дер.
Бородичи, Зельвенского района, Гродненской области Лазута Иван
Васильевич, 1928 г. рождения, который был арестован 11/2 с/года
и помещен сразу же в психбольницу в дер. Жодишки той же об-
ласти, где находится и по настоящее время.

В течение 4-х месяцев его держат на принудительном лечении.
Ему сделали внутренние вливания и уколы, после которых он
не смог двигаться и был прикован к постели. Кроме того, получил
отравление желудка, что еще больше ослабило его. Здоровье его
в опасности, а может быть и жизнь, после проводимых над ним
экспериментов. Все это сопровождается допросами по церковным
делам и его веры в Бога. Ему было заявлено, что вера в Бога
является психическим заболеванием и поэтому, как сказал леча-
щий врач, его будут лечить от фанатизма.

Вам было послано ходатайство односельчан (верующих и
неверующих) с заверением о его здоровье и просьбой освободить
его от заточения в психбольнице, — но Вы отвергли это ходатай-
ство. Послано ходатайство верующих ЕХБ с. Бородичи, но Вы не
приняли до сего времени мер для пресечения этого нового метода
физического уничтожения верующих.

Со своей стороны, на основании просьбы брата Лазуты Ивана
Васильевича и поместной Церкви ЕХБ дер. Бородичи, мы обра-
щаемся к Вам и считаем этот поразительный случай борьбы с ве-
рой в Бога, выходящим за все допустимые границы здравого смысла
от тех, кто совершает это и кто санкционирует.

Исполненные горести и сочувствия к страданиям брата Лазу-
ты И. В. мы делаем выводы, что он страдает как мученик за искрен-
ное исповедание веры в Бога.

Надеемся, что Ваше сердце на этот раз содрогнется и Вы при-
примете меры к исправлению поступков, которые не делают чести
стране, в которой это происходит.

Помимо всего еще раз обращаем Ваше серьезное внимание
на чрезмерно жестокое отношение прокурора Белоруссии к верую-
щим исповедания ЕХБ, выражающееся в неуклонном применении к
арестованным за исполнение Слова Божия членов Церквей ЕХБ
статьи 222 УК БССР не имеющей никакого отношения к этому
исповеданию.

Просим срочно сообщить нам ответ по адресу:
Киев - 114, Сошенка 11 б, Винс Л. М.

По поручению Совета родственников узников членов
Церквей ЕХБ, страдающих за слово Божие в СССР,
подписали:

июнь 1970 г.

Копия

Всем верующим ЕХБ, проживающим в СССР
от Бородицкой общины ЕХБ
Зельвенского района, Гродненской области

ОБРАЩЕНИЕ (повторное)

«Помните узников, как бы и вы с ними были
в узах, и страждущих, как и сами находитеесь
в теле» Евр. 13:3.

Дорогие братья и сестры, многострадальная Церковь Христо-
ва! Мы обращаемся к Вам и просим в своих молитвах, чтобы Вы
приносили к Господу нашего дорогого брата Лазуту Ивана Ва-
сильевича, который в тяжелом положении находится в Жодишкин-
ской облпсихбольнице Гродненской области, о чём и было послано

нами чрезвычайное сообщение в правительство СССР от 24 мая 1970 года.

В конце 1969 года было возбуждено уголовное дело Зельвенской прокуратурой на наших братьев Шугало Н. В. и Лазута Н. И., которые были 14 января приговорены народным судом Зелевенского района к пяти годам лишения свободы каждый. Как стало известно позже, в то же время было возбуждено уголовное дело и на брата Лазута Ивана Васильевича, но всё это держалось втайне. Наш брат был вызван к следователю один раз в качестве свидетеля по делу Шугало Н. В. и Лазута Н. И. Вскоре после суда над братьями Шугало Н. В. и Лазута Н. И. брат Лазута И. В. был доставлен под конвоем милиции и следователя Миклошевич в г. Гродно в психбольницу на обследование к медэксперту, фамилия которого осталась неизвестной. Беседа продолжалась более двух часов и наш брат был отпущен домой, но нам всем стало ясно, что проводится какая-то работа для того, чтобы лишить нашего брата свободы не через открытый судебный процесс, но каким-то иным способом. И когда не удалось добиться отречения у одних судебным процессом и заключением, решили добиться этого другим путем — помещения его в психбольницу.

11 февраля брат Лазута И. В. был арестован и увезен в неизвестном направлении. Только после многочисленных ходатайств матери и родных, удалось узнать, что он находится в Жодишках в облпсихбольнице на принудительном лечении, причем никаких документов об его осуждении или результатах медэкспертизы не было выдано. До помещения в психбольницу, брат в течение 8 лет трудился маляром высокой квалификации в Мостовском прорабском участке, о чем выдана справка уже после заключения его в психбольницу, характеристика с места работы: «За период работы показал себя, как хороший специалист, нормы выработки выполнял 110-120%. Был дисциплинирован. В быту скромн...» Ни один человек среди окружающих его не может сказать, что он страдал каким-то психическим расстройством, о чем и была послана жалоба на имя Косыгина А. Н. от матери, под которой подписались многие односельчане Лазуты И. В.

С первых же дней пребывания в психбольнице наш брат был помещен в общее отделение с душевнобольными и врачи на основании заключения медэксперта, начали применять лечение к совершенно здоровому человеку от шизофрении. Была дана серия уколов инсулина. После первых же уколов наш брат почувствовал себя плохо и доза лекарств была значительно сокращена.

Происходили частые беседы между врачами и братом Лазутой И. В. и в одной из них брат сказал: «Что будет, если откажусь от веры в Бога, перестану посещать собрания, молиться, как вы поступите со мной». Врач ответил: «Немедленно отпустим тебя домой». Все это ясно показывает о намерении и новом подходе атеистов к верующим: видя, что ни суды, ни репрессии, ни разгоны собраний, ни штрафы не помогают, они решили испытать новый метод воздействия на верующих, путем помещения в психбольницу, но мы можем сказать словами Ап. Павла: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Рим. 8, 38-39.

И мы благодарим Бога, что Он дает нашему брату среди тяжелых испытаний сохранить верность Ему. Видя, что никакие запугивания не действуют, лечащий врач спросила после окончания серии уколов: «Как Лазута, ты еще продолжаешь верить в Бога?» И после утвердительного ответа сказала: «Ну, теперь мы выльчим тебя от твоего фанатизма». Были прописаны новые препараты, после введения которых здоровье нашего брата резко ухудшилось, и с 11 мая начали пухнуть руки и болеть все суставы. С 18 мая наш брат полностью прикован болезнью к постели и не может двигаться самостоятельно. Но благодарение Богу, что дух его не сломлен и находится в полной бодрости и он заявил, что «если Господь допустит, то я готов умереть за имя Его но не отрекись от Него. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него» Фил. 1:29.

Мы верим, что и через эти страдания и скорби Господь призывает еще многих в число Своих детей.

Поэтому еще раз обращаемся к Вам, чтобы все Вы помнили в молитвах своих нашего и Вашего брата, и просили, чтобы Господь дал ему сил сохранить до конца верность Ему.

Просим Совет родственников узников обратиться к Правительству нашей страны с чрезвычайным сообщением, так как жизнь нашего брата находится в крайней опасности.

Ваши наименьшие братья и сестры во Христе,
члены Бородической общины:

(подписали)

Копия

Председателю Президиума Верховного
Совета СССР тов. Подгорному Н. В.

Заявление

Я, Лазута Иван Васильевич, 1928 года рождения, житель деревни Бородичи, Зельвенского района, Гродненской обл., настоящим заявлением ставлю Вас в известность, что я являюсь верующим, исповедующим евангельско-баптистское учение, был незаконно осужден, притом заочно, 11 февраля сего года арестован. И несмотря на то, что я являюсь вполне здравомыслящим, психически нормальным человеком, был помещен в психиатрическую лечебницу на принудительное лечение, в которой и нахожусь по настоящее время по адресу: Гродненская область, Сморгонский район, дер. Жодишки.

Психически и физически будучи здоров после некоторого времени принудительного лечения в этой псих. больнице, оставаясь психически вполне нормальным, физически тем не менее я стал абсолютно болен. Лечащий врач заявила, что «мы тебя будем лечить от твоего фанатизма, и если ты откажешься от веры в Бога, то мы тебя выпустим.» От слов она перешла к делу и после данного ею мне укола я почувствовал себя настолько плохо, что потребовалось срочное вмешательство врачей, ибо моей жизни угрожала опасность.

Поэтому я прошу Вас лично разобраться в этом деле (надеюсь, что справедливость в нашей стране восторжествует), так как находясь здесь я могу совершенно потерять физическое здоровье и вместе с ним полностью всякую трудоспособность. Надеюсь, что Вы не окажетесь безучастным к моей просьбе и заявлению и справедливость восторжествует.

К сему:

1. VI - 1970 г.

(Лазута)

ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЦК КПСС Л. И. БРЕЖНЕВУ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР Н. В. ПОДГОРНОМУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА
МИНИСТРОВ СССР Н. А. КОСЫГИНУ.

От КОЗЛОВА Василия Ивановича, проживающего в г. Йошкар-Ола, Марийской АССР, ул. Московская, № 20.

«Царь будет сетовать,
и князь облечется в ужас,
и у народа земли будут дрожать руки.
Поступлю с ними по путям их,
и по судам их будут судить их;
и узнают, что Я — Господь!»

— Иезек. 7:27

Уважаемое Правительство!

Я христианин евангельско-баптистского вероисповедания на протяжении многих лет имею настоятельное желание лично открыть Вам правду о действительном положении христиан в нашей стране.

В 1966 году, имея это же желание, я был в числе делегации верующих ЕХБ в г. Москве у здания ЦК КПСС, которая не была принята Вами и была подвергнута избиению и аресту. Сам я лично, в числе многих других, был осужден на три года лишения свободы за участие в делегации и отбывал заключение в Архангельской области в лагерях строгого режима.

В настоящее время, являясь свидетелем непрекращающихся ужасов преследования и бесправного положения христиан в нашей стране и испытывая это на себе, имею еще большее желание встретиться с Вами и поэтому убедительно прошу Вас принять меня для беседы, ибо у меня и у большинства верующих создается мнение, что многое из этих ужасов до Вас не доходит или преподносится в извращенном виде.

Но еще ужасней, если все это делается с Вашего позволения.

Наша маленькая община верующих ЕХБ в г. Йошкар-Ола в количестве 60 человек вот уже 21 год подвергается непрерывным гонениям, штрафам, угрозам и т. п.

Более 300 раз милиция врывается в дома верующих, были случаи, когда милиция во время молитвы хватала верующих, вы-

волакивала их на улицу и бросала в машины, дважды выбивались окна в моем доме, где происходят богослужения.

Около 30 раз верующие нашей общины были подвергнуты штрафам за проведение богослужебных собраний на сумму тысяча пятьдесят пять руб. (1055 р.). В основном оштрафованы многодетные семьи и пенсионеры.

А в регистрации, о которой наша община ходатайствует с 1949 года, нам доныне отказывают. Такова неприглядная картина положения верующих и в других городах нашей страны.

А теперь я хочу рассказать о себе.

Я, КОЗЛОВ Василий Иванович, родился в 1924 г., в селе Черлы, Таканьшского р-на, Татарской АССР в семье крестьянина-бедняка. По национальности — русский.

Мой отец умер в 1933 г., а мы пятеро детей, оставшись без отца, были предоставлены самим себе.

Меня влекла улица и, совершив воровство, я в 15 лет уже очутился в тюрьме с большим для ребенка сроком в 4 года.

Заключение в таком возрасте меня не перевоспитало, а еще больше утвердило в преступности.

В 1943 г. после освобождения я был направлен на фронт, а через год тяжело ранен в грудь. После госпиталя и краткого отдыха я был опять призван в армию. В 1945 г. я демобилизовался и опять вернулся к преступной жизни, а в 1946 г. был осужден к 5-ти годам заключения за хранение огнестрельного оружия.

Так я жил без Бога и без морали, не оставляя своей преступной жизни. И в 1947 году в лагере я получил новый дополнительный срок за лагерный бандитизм — 10 лет.

Иногда я приходил в отчаяние, ища выхода из создавшегося положения.

Жизнь для меня потеряла всякий интерес.

Я делал все над собой, чтобы не жить, а жить хотелось, только не так и не такой жизнью.

Я стал искать причину моей жизненной трагедии.

Сегодня я прямо могу сказать откуда корни моего падения: я родился в 1924 году и мне со школьной скамьи внушали, что нет Бога! А раз нет веры в Бога, то нет и морали!

Отсюда и гибель души и путь к моральному и физическому разложению!

Но среди заключенных мне пришлось увидеть и других людей с высокой моралью, с высокой жизненной целью.

Это были христиане, верующие.

Они были лишены свободы и помещены в среду преступников за живую веру в Бога!

Я сознавал, что отбываю наказание заслуженно: за воровство, грабеж и бандитизм!

Но эти люди за свои убеждения имели гораздо большие сроки: 20-25 лет заключения!

Среди всеобщего отчаяния, когда такие преступники как я, проклинали себя, лагерь, начальство и все на свете, вскрывали себе вены, полость живота, вешались и т. п., христиане не отчаивались.

Их не смущала лагерная жизнь и суровые условия. Они сияли духовной красотой. Их чистая, правдивая жизнь, их глубокая вера и преданность Богу, их кротость и удивительное мужество стали ярким примером настоящей жизни для многих тысяч заключенных. В их лицах отображался Христос! Вот именно такой чистой жизнью с ее высокой целью и мне захотелось жить!

Особенно светлым и неизгладимым примером послужил для меня один из арестантов — христианин ХРАПОВ В. П., с которым я встретился в 1953 году в одном из лагерей Восточной Сибири.

ХРАПОВ в то время отбывал уже не первый срок наказания за веру в Бога.

Он и сейчас находится в заключении. Ему 56 лет жизни, из них большую половину он провел в тюремных застенках и лагерях, как христианин!

Он был впервые посажен при Сталине, сидел в тюрьме при Хрущеве, сидит в тюрьме и при Вас!

Только на короткое время он появляется на воле, в своей семье, а затем его снова лишают свободы!

Да будет Вам известно, что таким путем многолетних страданий проходят многие сотни верующих евангельских христиан-баптистов, лучшие сыны и дочери нашего народа!

Однако их узы и страдания обратили внимание многих на Христа. Преобразующая сила Христа, сила Евангелия покорила не только мое преступное сердце, но сотни подобных мне, которые были отравлены безбожием и пороком!

Русские тюрьмы и лагеря стали для многих местом духовного возрождения и встречи со Христом!

В 1953 г. я полностью порвал с преступным миром и со своим преступным прошлым! Я стал христианином!

И сегодня тысячи людей, подобных мне в прошлом, томятся в тюрьмах и лагерях.

Они там не исправляются, ибо средства и методы лагерного воспитания не приносят пользы и не делают их лучшими.

Они становятся все хуже и хуже! Им нужна не мораль безбожия, а Христос! О, если-бы Вы не препятствовали верующим, находящимся и ныне в тюрьмах и лагерях, говорить о Христе преступному миру!

Как-бы преобразилась жизнь многих тысяч преступников!

Вам не нужно было бы содержать миллион лекторов безбожной морали, Вам не нужно было бы столько милиции! Деньги, затраченные на их содержание и на войну против Бога, лучше бы направить на издание Библий и Евангелий для нашего Советского народа, и тогда меньше было бы пьяниц и воров и т. п. преступников, тогда лагеря значительно бы опустели, тюрьмы можно было бы превратить в музеи человеческой ликости и жестокости, где человек человека держит в бетонной клетке и за травливает, как зверя!

В 1954 г. я возвратился из мест заключения и женился.

Но с этого же момента началось преследование меня, как верующего христианина.

В 1961 г. я, имея уже 5 малолетних детей, был подвергнут году принудительных работ за мою христианскую жизнь.

Еще не отбыв наказания, я был в том же году осужден к 5-ти годам высылки в Восточную Сибирь за свидетельство о Христе.

Так начался второй этап моей арестантской жизни, теперь уже не за бандитизм и грабеж, а за Христа!

Меня везли под конвоем в Красноярский край. Но у меня не было чувства отчаяния, как в прошлом. Я уже испытал любовь Христа и знал великое обетование, что и мне «дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него!» — Филип. 1:29.

Это утешало меня!

Три года я пробыл в ссылке, вдали от семьи.

Моя жена и 6 маленьких детей, оставшись без отца, также несли тяжесть страдания за Христа.

В 1964 г. я был освобожден и вернулся домой.

Но не долго пришлось мне быть дома.

Милиция и другие органы не оставляли в покое верующих не только в нашем городе Йошкар-Оле, но и по всей стране продолжались гонения.

Как и Вам известно, в 1964-65 г.г. верующие ЕХБ из разных городов ехали в г. Москву с жалобами в различные государственные органы.

В августе 1965 г. более ста представителей верующих обратились в г. Москве к Председателю Президиума Верховного Совета Микояну А. И. с просьбой принять и выслушать нас. И когда было получено согласие, я был в числе 5-ти человек на приеме у Микояна.

Главе Государства были представлены в письменном виде 30 наиболее характерных фактов беззакония и произвола над верующими. Было также представлено 16 убедительных фотодокументов: разрушение молитвенных домов, избивание верующих и т. п.

Микоян обещал восстановить свободу совести в стране.

Но фактически положение верующих не улучшилось, а еще более ухудшилось.

Сам я лично в апреле 1966 г. был подвергнут новому суду и наказанию на год принудительных работ за религиозную деятельность.

В марте 1966 г. были изданы новые Государственные указы с целью усиления преследований верующих. На местах гонения усилились.

В мае 1966 г. в Москву приехало около 500 верующих ЕХБ из 130 городов. В их числе был и я.

Верующие просили Вас, Леонид Ильич, принять и выслушать их, как советских граждан.

Но вместо приема, верующие — делегаты были брошены в тюремные казематы, в эти бетонные клетки с различным сроком наказания.

Я снова предстал перед судом, как христианин! Это уже четвертый раз я был судим за веру в Бога!

Мне дали 3 года лагерей строгого режима.

Моя семья снова осталась без отца. Но все это мы уже давно простили Вам.

С первых же дней заключения верующие-узники молились за Вас! Это слышал Бог, это слышали мрачные стены Лефортовской тюрьмы — главной политической тюрьмы нашей страны!

Мы молились за Вас, как наученные нашим Учителем-Христом, Который сказал: «благословляйте проклинаящих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» — Матф. 5-44.

Я верю, что эти молитвы, возносимые день и ночь, не будут напрасны!

Для отбывания срока наказания я был отправлен в Архангельскую область.

Сотни верующих были также подвергнуты заключению на длительные сроки.

А на свободе верующие терпели еще большие гонения: разгоны собраний, обыски и изъятие духовной литературы, допросы, штрафы, отнятие детей и суды...

Тюрьмы и тяжелые условия лагерей и колоний подорвали здоровье многим верующим, а некоторые и не вернулись домой! Но христиане и это Вам простили! Пусть же слезы отцов и матерей, слезы сирот-детей и невинная кровь мучеников-христиан напомнят и Вам о величайшем зле на земле — гонениях на христиан — и смягчит Ваши сердца!

Приближался срок моего освобождения.

Местные власти в г. Йошкар-Ола заявили верующим, что Козлов через два дня после приезда в город снова будет упрятан в тюрьму.

В августе 1969 г. я освободился из лагеря. С первого же дня моего появления дома, милиция стала посещать мой дом.

Начались вызовы в органы власти и в милицию, начались штрафы.

В сентябре 1969 г. за проведение богослужебных собраний в моем доме я был оштрафован только за одну неделю на сумму сто рублей, через малое время еще на сто рублей.

И это при моем месячном заработке 70 рублей. Моя семья, мои дети были обречены на голодную смерть. Такое положение постигло и многие семьи.

6 декабря 1969 г. органы власти впервые выдали официальное разрешение на проведение в г. Туле совещания верующих, объединенных служением Совета Церквей ЕХБ, которое проходило в летней комнате на чердаке дома Владыкина Н. И. по ул. Красnodонцев, 14. Приехало 120 служителей Церквей ЕХБ со всех концов страны.

Многим казалось, что наступает новая пора справедливого и законного отношения властей к верующим!

Совет Церквей призвал общины ЕХБ к законной регистрации. Сотни общин ЕХБ подали заявления по установленной форме на регистрацию.

Однако, органы власти не только не зарегистрировали эти общины, но и усилили гонения против них, отбирая дома, где проходят собрания.

А дом, где проходило упомянутое Всесоюзное совещание служителей ЕХБ ныне незаконно конфискован, и хозяин его Владыкин Н. И. осужден на год принудительных работ.

Совет по делам религии официально отрекся от своего разрешения вышеупомянутого совещания, после чего и гонения еще более усилились!

Находясь под постоянными притеснениями и угрозами от местных властей, я и сегодня лишен возможности нормально жить в своей семье. На таком положении находятся и многие мои братья по вере, от домов которых не отходит милиция, а в тюрьмах и лагерях томятся около 150 верующих ЕХБ.

Вот каково действительное бесправное положение верующих Христиан в нашей стране.

Все незаконные действия властей, все гонения против меня и моей семьи направлены к тому, чтобы я отрекся от Христа и вернулся к той прошлой греховной жизни, о которой я и сейчас не могу вспоминать без содрогания и ужаса.

Мне много раз приходилось слышать от начальников-собеседников: «лучше бы ты оставался бандитом, чем христианином!»

Я вспоминаю первый суд надо мною в 1961 г., как над христианином: Общественный обвинитель хотел укорить меня моим прошлым. Он высоко поднял огромный том моих прежних судимостей и потрясая им над своей головой громко восклицал: «Посмотрите на его прошлое: он был вор, бандит и разбойник! А теперь он заделался святым апостолом!»

В защитительной речи я ответил: «Да, я действительно был вор и бандит, за что и отбыл заслуженное наказание! Но я уже умер для греха и для прошлого! Сила крови Христовой очистила мое преступное сердце! Теперь я новый человек!»

И то, чем сегодня потрясает общественный обвинитель, это только мои греховные мощи, и вы напрасно роетесь в мощах и ищите в них для себя бальзам утешения!»

Этими мощами трясут уже многие годы лекторы — атеисты в своих лекциях и корреспонденты в газетных статьях...

Да и Председатель Совета по делам религии Куроедов В. А.

в газете «Известия» от 17 октября 1969 г. тщетно пытался оживить мои греховные мощи!

Но Козлов бандит и разбойник давно уже умер и погребен, а ныне, милостью Божией, живет Козлов — христианин!

Как испытавший весь ужас преступной греховной жизни в прошлом и познавший освободительную силу Христа, убедительно прошу Вас: не причиняйте зла и страданий для невинных людей — христиан!

Посмотрите: это Ваши честные и лучшие граждане!

Они Вам желают добра и только добра!

А гонения не увенчаются успехом, ибо написано:

«Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь!» — Ис. 54:17.

Не навлекайте на себя гнев Божий!

Еще раз убедительно прошу Вас принять меня для беседы с Вами.

С уважением к Вам: — В. И. Козлов

ВСЕМ МАТЕРЯМ ХРИСТИАНКАМ

Копия:

Председателю Президиума Верховного Совета т. Подгорному Н. В.

Копия:

Председателю Совета Министров СССР т. Косыгину А. Н.

Копия:

Совету родственников узников ЕХБ, осужденных за свободную проповедь Евангелия

от матери узника ЕХБ Зинченко В. Я.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Дорогие матери, я обращаюсь к вам с просьбой поддержать меня в молитвах за моего сына Владимира. Он осужден за проповедь Евангелия, духовное пение и игру на духовых инструментах. Что это так, видно из приговора Октябрьского районного нарсуда г. Харькова от 26.10.1969 г. и предложенного ему отречения от Бога. Уже в ИТК ему официально было предложено отречься от своего убеждения и ехать домой. А так как он не согласился на

это, к нему применяют все меры, чтобы он из лагеря вышел инвалидом, или чтобы похоронить его там. С этой целью его, 19-ти летнего юношу, физически слабого, загнали работать в сырую шахту на тяжелый каторжный труд.

Я описала это в своем письме от 15/2 - 70 г. на имя Председателя Совета Министров Косыгина А. Н., но ответа положительного не получила. А за это время сын заболел ревматизмом суставов и ридикулитом. Но на это не обращают внимания и не освобождают его ни от работы, ни от нормы, делают уколы и гонят на работу, а также при производственных травмах санчасть не дает освобождения от работы.

И в настоящее время сын находится в тяжелых обстоятельствах.

Поэтому, я прошу вас, дорогие матери, молиться вместе со мной, чтобы Бог сохранил живым моего сына, как Он сохранил Даниила во рву львином, а также, чтобы Господь подействовал на сердца Правителей нашей страны и они дали указание освободить моего сына из каторги, где он находится.

Зинченко

30/III - 70 г.

ХРОНИКА ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ № 17 (*)

31 декабря 1970 г. вышла «Хроника текущих событий № 17. Она включает сообщения о нарушениях человеческих прав в СССР, главным образом, за ноябрь-декабрь.

Краткое содержание «Хроники» № 17: «Суд над АМАЛЬРИКОМ и УБОЖКО», «Последнее слово АМАЛЬРИКА», «Суд над Валентином МОРОЗОМ», «Письма Солженицына Нобелевскому Фонду», «Комитет Прав Человека в СССР», «Общественные выступления вокруг процесса ПИМЕНОВА, ВАЙЛЯ и ЗИНОВЬЕВОЙ», «Ленинградский процесс «самолетчиков», «Процессы прошлых лет: дело Украинского национального фронта», «Преследования евреев, желающих выехать в Израиль», «О РИГЕРМАНЕ, американском граж-

(*) В прошлом номере Вестника мы напечатали целиком 15-ый номер Хроники текущих событий, чтобы дать нашим читателям возможность ознакомиться с этим первым подпольным повременным изданием. Однако регулярное печатание этих выпусков не входит в задачи Вестника, и, отныне, мы будем ограничиваться лишь выдержками из Хроники.

данстве и советской милиции», «О судьбе Фрица МЕНДЕРА», «Политзаключенные мордовских лагерей», «Краткие сообщения», «Новости самиздата».

К этой «Хронике» приложен «Список лиц, осужденных и репрессированных по политическим мотивам в 1969 и 1970 гг.».

В 1969 году арестовано и во многих случаях осуждено 129 человек (по данным «Хроники» № 11 и данным этого списка). Пока известно 74 человека, репрессированных в 1970 году.

В «Кратких сообщениях» (их 25) названы:

1. Суд в феврале в Риге над тремя юношами, разбрасывавшими 7 ноября 1969 г. листовки: Гунаром БЕРЗИНЕМ, Лаймонисом МАРКАНТОМ и Валерием АККОМ.

Первый приговорен к 3 годам строгого режима; два других к полутора годам каждый.

2. Альтис СТАТКЯВИЧЮС, арестованный в Вильнюсе 18 мая 1970 года, социолог, помещен в спецпсихбольницу.

3. «Бериевцы» в мордовском лагере (3-ье лаготделение). О сотрудниках МВД, отбывающих сроки.

4. Суд над ростовским философом-марксистом Петром Марковичем ЕГИДЕСОМ. 8 декабря судом определен в психиатрическую больницу общего типа.

5. Лидия Андреевна ДОРОНИНА, рижанка, арестованная 3 августа 1970 г. и осужденная 29 декабря на 2 года лагерей общего режима за распространение самиздата.

6. Сбор средств на памятник Н. И. ВАВИЛОВУ. Памятник установлен 25 сентября 1970 г. в Саратове на Воскресенском кладбище, хотя место захоронения академика ВАВИЛОВА неизвестно: умерший от голода в тюрьме, он был брошен в одну из ям с металлической биркой на ноге.

7. Антанас ШЕШКЯВИЧЮС, католический священник. Приговорен в сентябре к одному году лагерей строгого режима за преподавание катехизиса детям.

8. Владимир ДРЕМЛЮГА, участник демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 г., находящийся в одном из якутских лагерей, переведен на 6 месяцев в БУР.

9. Перевод во Владимирскую тюрьму политзаключенных мордовских лагерей: Леонида БОРОДИНА, Бориса БЫКОВА, А. А. ПЕТРОВА-АГАТОВА.

10. Осенние маневры войск МВД под названием: «Подавление восстания в лагере численностью в 1200 человек».

11. Попытка угона самолета в Литве: Витаутас СИМОНАЙТИС и его жена.

12. Митинг евреев на кладбище под Ригой, где похоронены расстрелянные евреи Рижского гетто.

ИЗ «ХРОНИКИ ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ» № 18.

НОВОСТИ СНИЗДАТА

ЭТИЧЕСКАЯ ОСТАНОВКА (1970 г.) Философский очерк анонимного автора с некоторыми рекомендациями демократическому движению в СССР.

В работе исследуется возможность реального осуществления принципа Добра в отношениях между людьми. В этом, по мнению автора, единственный шанс спасения человечества от катастрофы.

“ПРОЕКТ ОБЩЕЙ ПЛАТФОРМЫ — анонимный документ. Очередная попытка “соединить наиболее общие положения” программных произведений Самиздата последних лет. И призыв к демократизации, смысл которой в “замене бюрократического социализма социализмом с человеческим лицом”.

“ИСХОД”, выпуск 4. Этот номер изданий советских евреев, борющихся за право выезда в Израиль, полностью посвящен ленинградскому процессу “самолетчиков” (см. “Хронику” № 17). Выпуск состоит из трех разделов:

1. Запись ленинградского процесса, включающая допросы подсудимых и свидетелей, выступления адвокатов, последние слова подсудимых. Запись снабжена большим количеством комментариев и примечаний разъяснительного и уточняющего характера.

2. Телеграммы и письма, содержание протеста против жестокого приговора ленинградского суда.

3. Запись кассационного суда в Москве.

“ПЕРВЫЙ ДЕНЬ”. Из Низко-Франковской тюрьмы получен небольшой этюд в прозе. Автор Валентин Мороз. Тема этюда — первый день в тюрьме.

“ПРИЗНАНИЕ” (перевод с французского). Артур ЛОНДОН.

В 1951 году в Чехословакии были арестованы 14 коммунистов во главе с генеральным секретарем КПЧ Рудольфом СЛАНСКИМ (в их числе — и автор). В 1952 г. Р. Сланский и еще 10 человек были приговорены к расстрелу. Трое — среди них А. Лондон — к пожизненному заключению. В 1962 г. А. Лондон был освобожден и уехал в Париж. В 1968 г. все обвиненные по “процессу Сланского” были полностью реабилитированы.

В августе 1968 г. Артур Лондон сдал в одно из пражских издательств рукопись своей книги "Признание". В ней он рассказывает о своем аресте, об обстановке, предшествующей аресту, об обвинениях, предъявленных ему, о методах при помощи которых добивались "признания", со самом процессе 1952 г. и о том, как разрабатывался сценарий процесса.

Автор утверждает, что фактическими руководителями предварительного следствия и судебного процесса были советские консультанты. Автор издал ее в Париже. Книга вышла также и в Чехословакии отдельным изданием, но ограниченным тиражом. По книге был снят фильм "Признание" (с Ивом Монтаном и Симоной Синьоре в главных ролях). См. об этом "Литературную газету" от 15 июля 1970 г.

"ВЕЧЕ", 1971, № 1 (январь). Вышел первый номер машинописного журнала "ВЕЧЕ". Редакция журнала так определяет его направление и задачи: "... повернуться лицом к Родине... возродить и сберечь национальную культуру, моральный и умственный капитал предков... продолжить путеводную линию славянофилов и Достоевского". "Мы приступаем к изданию русского патристического журнала", — заявляет редакция.

При сравнении журнала "Вече" с манифестом "Слово нации", появившимся за подписью "Русские патриоты" (см. "Хронику № 17), обнаруживается существенное различие. "Слово нации" есть политическая декларация, проповедующая расизм, государственный деспотизм и великодержавие; между тем национализм "Веча" выступает не как политическая идеология, а лишь как определенное отношение к русской истории, культуре, к православию.

Юдофобство и сталинские симпатии характерны для некоторых авторов "Веча", но отнюдь не для всех. Редактор журнала В. Осипов пишет: "Приходится сожалеть, что о русской нации судят не по Хомякову и Киреевскому, а по Дубровину и Меньшикову".

Аннотировать или комментировать отдельные публикации "Веча" мы не считаем пужным, ибо тематика журнала не имеет отношений к проблеме прав человека в нашей стране. Мы представляем читателю этот журнал лишь постольку, поскольку он — издание бесцензурной печати.

1 марта 1971 г. В. Осипов от имени редакции журнала "Вече" распространил заявление, в котором подчеркивается, что "Вече" является легальным журналом, что политические проблемы не входят в его тематику и что журнал не ставит целью умаление достоинства других наций.

К. ДЕМОВ. "Я — охранитель. (Критика соображений А. Михайлова о либеральной кампании 1968 г.)."

Возражения К. Демова А. Михайлову (см. "Хронику" № 17) сводятся в основном к следующему.

Наука об обществе, как и всякая наука, — дело профессионалов, а не дилетантов. Самиздат не может выработать научную социологию, а способен в лучшем случае обобщить уже добытые ею данные (лишь при условии, что в самиздат придут ученые-обществоведы). Курс А. Михайлова на "преодоление идейного разброда" и выработку единой программы из 10-12 пунктов есть, по мнению Демова, не научное, а

чисто политическое устремление, неизбежно ведущее впоследствии к партийной борьбе за власть (наподобие того, что уже было). Подчинение Самиздата такой установке (единая программа) положило бы конец свободе слова в Самиздате, полагает автор. Резко критикуется положение Михайлова о том, что интеллигенция должна дать народу "модель демократического социализма". Нужна не очередная социалистическая система схема, а свобода; народ сам, без всяких привнесений со стороны, умеет выразить свои интересы, формулировать свои требования (например — сегодняшняя Польша), утверждает Демов. Решительно выступает автор против тезиса Михайлова о пагубности "самоиздательства" (в частности дается высокая оценка демонстрации 25 августа 1968 г., которую осуждает Михайлов). Проводится мысль, что оппозиция должна быть легальной, что для осуществления свободы необходимо соблюдение законности. "Лучше политическое бездействие, чем политический экстремизм" — вот центральная идея К. Демова. В заключении статьи говорится, что демократы должны охранять общество от крайностей как правого, так и левого толка (в этом смысле автор и заявляет: "Я — охранитель").

БИБЛИОГРАФИЯ

Надежда Мандельштам, **Воспоминания**, Нью-Йорк, Издательство имени Чехова, 429 стр., 1970 г.

Описывая свое свидание с Осипом Мандельштамом после его ареста в 1934 году, автор — вдова поэта — упоминает, как много они сумели рассказать друг другу несмотря на присутствие и участие в разговоре следователя. Однако попытки вести разговор без прямых вопросов и ответов с людьми неподготовленными, по опыту автора, неизбежно оказывались тщетными, т. к. умение понимать подтекст "это только наше свойство — чтобы развить его, надо прожить нашу жизнь". (34). Читая книгу воспоминаний Надежды Мандельштам, надо помнить это предупреждение, т. к. за текстом книги находится богатейший подтекст, при чтении невнимательном он может остаться целиком вне сознания читателя. Тем не менее книга не написана для "посвященных" — знатоков советской действительности и русской литературы. Возможно, что именно неумение не советских людей без труда улавливать подтекст и побудило автора описывать и объяснять то, что для не имеющих личного опыта советской жизни, может остаться непонятным. "Воспоминания" написаны для читателя последующих поколений и читателя западного, для тех, кому советская действительность сталинской эпохи может показаться вымыслом и фантастикой. Так помимо описания реалий советского быта, связанных с деятельностью органов госбезопасности, автор уделяет внимание специфике языка — распространением в советской практике эвфемизмов ("высшая мера") и переосмыслениям слов ("писать", "подписывать", и др.).

Написать эту книгу Надежду Мандельштам побудило желание спасти правду, быть свидетелем того, что произошло с Мандельштамом, и таким образом свидетелем своего времени: "Когда я вижу книги разных

арагонов, которые хотят помочь своей стране и научить их жить, как мы, я думаю, что мне следует рассказать и о своем опыте" (382). По словам автора, среди оставшихся в живых "свидетелей эпохи" одни решили ничего не рассказывать и постараться всё забыть, другие действительно забыли, третьи, хотя и хотели остаться свидетелями, со временем утратили "понимание вещей и точку зрения" (319). Сама Надежда Мандельштам обладает не только исключительной памятью, но и удивительным умением сохранять перспективу. Даже неизбежная (принимая во внимание его характер) гибель Мандельштама оказывается в конце концов иронией судьбы: поводом к последнему аресту поэта, по-видимому, послужило то самое письмо Бухарина к Сталину, благодаря которому в 1934 году он отделался только ссылкой. Беспощадная объективность в оценке действий самых близких людей, включая Мандельштама и самой себя, не оставляет ни малейшего сомнения в абсолютной искренности автора.

Хронологически книга открывается кануном первого ареста Мандельштама в 1934 году, за обыском и арестом последовали ссылка, мытарства по стране с приговором "минус 70", второй арест в 1938 году, известие о смерти и посмертные рассказы — разные версии смерти Мандельштама в пересыльном лагере. Повествование только в общих чертах соответствует общей хронологии, в пределах же отдельных глав или эпизодов автор досказывает судьбу человека, попавшего в её поле зрения, или возвращается назад, давая необходимую предысторию, проводит параллели и контрасты с прошлым, это особенно касается сравнений середины 60-х годов — времени, когда писалась книга — с предшествующими десятилетиями.

Книга не обрывается арестом и смертью Мандельштама, т. к. после того как Надежда Мандельштам поняла, что изменить его судьбу было не в ее силах, целью ее существования стало спасение его литературного наследия, непечатанных стихов и прозы, которые изымались при обысках и исчезли в НКВД, похищались подосланными агентами, уничтожались людьми, бравшими их на хранение. Самым верным способом оказалось запоминание наизусть и постоянное повторение. Только после 1956 года вдова поэта перестала надеяться на свою память и решила записать то, что хранила в памяти; неудивительно, что книга насквозь пронизана стихами и прозой Мандельштама (от читателя знакомого с творчеством поэта здесь многое может ускользнуть). История хранения рукописей — это "посмертное существование" Мандельштамов.

"Воспоминания" сообщают много ценных фактов биографического характера и окончательно разрушают прочно укоренившиеся легенды о поэте. Наконец Мандельштам встает в свой полный рост и предстает не каким-то чудачком, вырывающим ордера на расстрел из рук страшного Блюмкина, а последовательным защитником человеческого достоинства и прав в системе несправия. Биографические данные часто проливают необходимый свет на стихи и прозу поэта. Так "Четвертая проза" оказывается комментарием на определенные происшествия в жизни Мандельштама того времени. Для исследователя или просто любителя поэзии Мандельштама — ценность книги неизмерима.

Автор дает множество портретов поэтов, литераторов, общественных деятелей; здесь первое место принадлежит Анне Ахматовой, много-

летнему близкому другу Мандельштамов. Много нового, интересного и подчас неожиданного узнаем о Борисе Пастернаке (дается подробное описание знаменитого разговора со Сталиным), Викторе Шкловском и многих других. Но на страницах книги появляются не только друзья и благожелатели Мандельштамов: литературные бюрократы советской эпохи получают вполне заслуженную жестокую оценку.

Одной из основных тем книги является капитуляция интеллигенции, разбираются причины и неизбежные следствия массовой переоценки ценностей, происшедшей еще в двадцатых годах. Автор неоднократно подчеркивает, что разложение не было чем-то исключительным, а буквально коснулось всех. В своей почти сверхчеловеческой объективности Надежда Мандельштам не осуждает тех, кто "пристраивался" и даже подписывал доносы, видя в этом закономерное последствие потери духовных ценностей. Даже Мандельштам пытался написать оду Сталину, что ему, однако, не помогло. Но разные люди предстают в книге по-разному, и между Павленко, тайно присутствовавшим при допросе Мандельштама в НКВД ("никакой Булгарин на это не осмелился бы" [90]), и людьми, рисковавшими помогать Мандельштамам в самые страшные годы — дистанция огромного размера. Приводимые факты зачастую не нуждаются в комментариях и сами осуждают больше, чем могли бы осудить негодующие слова. В оценке людей и эпохи автор сознательно не ограничивается односторонними наблюдениями.

В книге колоссальное богатство материала. Автор со страшной наглядностью передает чувство "выпадения из времени", испытанное при непосредственном контакте с органами госбезопасности, разбирает психологию разных категорий — добровольных и принудительных — доносчиков, описывает явление, которое можно назвать "памятью вернувшихся лагерников", дает вдумчивый анализ причин капитуляции интеллигенции. Но, конечно, самый богатый и интересный материал касается жизни писателей и литературных деятелей эпохи.

Вынужденная езда по стране в течение двадцати лет после смерти Мандельштама и жизнь в провинции бесконечно расширили и углубили опыт автора. Очень ценны наблюдения, что рабочие, в среде которых вдова поэта жила и работала перед войной, сохраняли духовную свободу в большей мере, чем интеллигенция, что антисемитизм чужд народу, а насаждается сверху и расцветает в полуобразованной среде. Интересная сторона воспоминаний, явившаяся непосредственным результатом многолетних путешествий, это описания разговоров со случайными спутниками в поездах. В тридцатых годах, когда знакомые отворачивались при встречах, незнакомые люди в поезде часто помогали добрым советом; после 20-го съезда разговоры в поездах — это разговоры с разочарованными сталинистами, ожидающими возврата "лучших времен".

Давая портрет Осипа Мандельштама, Надежда Мандельштам старается остаться в тени, но против своей воли вырастает в фигуру под стать великому поэту — человека удивительной духовной силы и красоты. В книге нет жалоб, хотя вся она — повесть о трагическом конце величайшего поэта, судьбу которого автор делил вплоть до последнего ареста. Сохраняя веру в человека и в победу добра, Надежда Мандельштам не поддается соблазну иллюзий, в своем оптимизме она очень осторожна.

Книга Надежды Мандельштам вышла по-русски и в английском переводе. Отзывы американских критиков очень положительные. Большинство выделяет "Воспоминания" из числа других книг о сталинской эпохе. Нельзя не согласиться с критиком, пожелавшим, чтобы эту книгу читали как можно шире на Западе, особенно молодежь, обычно пренебрегающая уроками истории и опытом предшествующих поколений.

Ольга Раевская-Хьюз

LES ÉDITEURS RÉUNIS

11, rue de la Montagne-Sainte-Genève, Paris (5^e)

●●●● НОВИНКИ издания YMCA-PRESS ●●●●

СОЛЖЕНИЦЫН А. — Август Четырнадцатого . . .	35,—
БУЛГАКОВ Мих. — Собачье сердце	15,—
БУЛГАКОВ Мих. — Пьесы:	
Адам и Ева. Багровый остров.	
Зойкина квартира	20,—
БЕРДЯЕВ Н. — Смысл истории	18,90
БЕРДЯЕВ Н. — Русская идея	20,—
БЕРДЯЕВ Н. — Философия неравенства	20,—
ПРАВОСЛАВНАЯ МЫСЛЬ № 14. Труды Православ-	
ного Богословского Института в Париже . . .	16,—
ЗУРОВ Л. — Отчина (Повесть о древнем Пскове) . . .	15,—
ЦВЕТАЕВА М. Лебединый стан. Перекоп	17,50
НОВЫЙ ЗАВЕТ. Новый русский перевод, с паралл.	
местами	10,50
ВЕРХОВСКОЙ С. — Бог и человек	20,—
ИЛЬИН И. А. — О тьме и просветлении (Бунин —	
Ремизов — Шмелев)	16,—
ЛОГОС. — Журнал религиозной мысли. Бельгия.	
№ I, 1971	4,—
МЕРЕЖКОВСКИЙ Д. — Вечные спутники — Пушкин	10,65
МОЧУЛЬСКИЙ К. — Владимир Соловьев	30,—
ШЕСТОВ Л. — Афины и Иерусалим	35,—
ШЕСТОВ Л. — Умозрение и откровение (Религиозная	
философия Вл. Соловьева и др. статьи)	30,—
СОЛЖЕНИЦЫН А. — Раковый корпус	35,—
СОЛЖЕНИЦЫН А. — В круге первом	42,—

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Год Достоевского	1
Достоевский и Оптина Пустынь — Ф. И. Уделов	4
Символика имен в романах Достоевского — Н. Зернов	17
БОГОСЛОВИЕ И ВОПРОСЫ ЦЕРКВИ	
К столетию со дня рождения о. С. Булгакова	
Слово Пасхальное — Прот. С. Булгаков	22
О единстве христиан во Христе и об Евхаристии как о причастии	
этому единству (продолжение) — Прот Г. Сериков	26
О некоторых трудностях в жизни римско-католической Церкви —	
Архим. А. Семенов Тянь-Шанский	34
К избранию Патриарха Пимена — Д. Поспеловский	37
Обращение к епископам Всероссийского Собора — Д. Поспеловский	42
По поводу автокефалии Американской Православной Церкви	
Письмо прот. А. Киселева Н. А. Струве	44
Ответ Н. А. Струве Р. Гулю (по поводу рецензии Р. Гуля о Вестнике)	46
ЛИТЕРАТУРА И ЖИЗНЬ	
Воспоминания детства — П. Флоренский	48
После "Двенадцати" — В. Вейдле	85
Стихи — Н. Бородаевский	104
СУДЬБЫ РОССИИ	
Неизданное письмо А. Солженицына	107
Слово отступников — И. Денисов	109
ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ	
Город Владимир — * * *	122
"Не мечом и копьём" (к аресту В. Буковского) — А. Краснов	136
Обращение академика А. Сахарова к президенту Никсону и ответ	
Никсона	143
Илья Рипс — * * *	145
Письмо В. Лапина "Об отмене смертной казни"	149
"Братский Листок" (о преследовании баптистов)	151
Из "Хроники текущих событий" № 17	167
Из "Хроники текущих событий" № 18 - Новости Самиздата	169
БИБЛИОГРАФИЯ	
Надежда Мандельштам. Воспоминания. — О. Раевская-Хьюз	171

SOMMAIRE

Pages

L'année Dostoïevski	1
Dostoïevski et « Optina Poustyn' » — F.I. Oudelov	4
Le symbolisme des noms dans les romans de Dostoïevski — N. Zernov	17

THEOLOGIE ET PROBLEMES ECCLESIAUX

Le centenaire de la naissance de Boulgakov	
Homélie pascale — Arch. S. Boulgakov	22
Unité des chrétiens dans le Christ et l'Eucharistie (suite) — Arch. G. Serikoff	26
Des difficultés de l'Eglise catholique-romaine — Arch. A. Semenov Tian-Chansky	34
L'élection du Patriarche Pimène — D. Pospelovsky	37
Appel aux évêques du Concile de Russie — D. Pospelovsky	42
Lettre de l'archevêque Kisselev à N. Struve	44
Réponse de N. Struve à R. Goul (au sujet de la récension du « Messenger » par R. Goul	46

LITTERATURE ET VIE

Souvenirs d'enfance — P.A. Florensky	48
Après « Les Douze » — V. Weidlé	85
Poèmes — N. Borodaïevsky	104

LES DESTINS DE LA RUSSIE

Lettre inédite de Soljenitsyne	107
La parole des renégats — A. Denissov	109
Les gens de bonne volonté :	
La ville de Wladimir — ***	122
« Ni par l'épée, ni par la lance » — A. Krassnov	136
Appel de l'Académicien A. Sakharov au Président Nixon et réponse du Président Nixon	143
Elie Rips	145
Lettre de V. Lapine — « Abolition de la peine de mort »	149
Bulletin d'information baptiste	151
Chronique des événements n° 17 et 18. Nouvelles du Samizdat.	

BIBLIOGRAPHIE

N. Mandelstam — Les souvenirs. - O. Raïevsky	171
--	-----

ВЕСТНИК

Русского Студенческого Христианского Движения

XXXIV-й год издания

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «ВЕСТНИКА»

Во Франции: Подписную плату просим вносить либо на почтовый счет А.С.Е.Р. Paris. С.С.Р. 2441-04; либо банковским чеком на имя А.С.Е.Р.

Подписная плата на 1971 год: 35 фр., с целью поддержки — 60 фр.

В Америке: Mrs Ludmila Toman, 85, Tobey Road, Belmont, Mass. 02178, U.S.A.

San Francisco: Mrs Olga Raevsky-Hughes, 1418, 24th Ave. San Francisco, Calif., 94122, U.S.A.

В Америке подписная плата на 1971 год: 8 долларов, с целью поддержки — 15 долларов. воздушной почтой — 10 долларов.

В Англии: The Centre for the study of religion and communism. 15 Red Hill Chislehurst, Kent BR 76 DB.

В Бельгии: П целью

В Германии:amburg.

В Канаде:Mont-

В Швеции:olm, 19,

с целью

658

В октябре месяце 1971 года выйдет

юбилейный номер **100** ВЕСТНИКА

на 200 страницах.

читайте в нем :

~~~~~ в отделе **Богословия** статьи о. Б. Бобринского, о. А. Семенова, о. И. Мейендорфа, о. Евтича, о. И. Поповича и др.

~~~~~ в отделе **Литературы**: «О религиозном опыте Достоевского» Н. Арсњева, продолжение «Воспоминаний детства» о. Павла Флоренского, продолжение «После двенадцати» В. Вейдле, «Пастернак и Цветаева» О. Раевской-Хьюз, «Бунин и Ремизов» Н. А. Струве, а также статьи В. Филиппова, Г. Струве и др.

~~~~~ в отделе **Судьбы России** статьи: Г. Адамовича, М. Михайлова, о. А. Шмемана, Н. Зернова и ряд неизданных материалов из России.

Неизданные произведения о. С. Булгакова, Н. О. Лосского, Л. П. Карсавина.

Неизданные стихи К. Бальмонта, А. Ахматовой, Б. Пастернака М. Волошина.

~~~~~ в отделе **На христианском Западе** о жизни Кармелитского ордена.

101-ый номер будет частично посвящен 100-летию со дня рождения о. Сергия Булгакова.